Женевьева, или Незавершенная исповедь

Андре Жид

Вскоре после издания «Урока женам» и «Робера» я полу­чил в рукописи начало рассказа, в какой-то мере дополняю­щего их, то есть как бы составляющего вместе с ними некое подобие триптиха.

Долго прождав продолжения, я решил напечатать это на­чало в том виде, в каком я его получил, вместе с прилагав­шимся к нему письмом в качестве предисловия.

*Андре Жид*

*Август 1913 года*

*Сударь,*

*смею ли я надеяться на то, что Вы согласитесь опуб­ликовать под Вашим именем, как Вы уже поступили с дневником моей матери, а потом с текстом в защи­ту моего отца, книгу, которую я Вам посылаю?*

*Я полагаю, что эта книга принадлежит к разряду сочинений, не способных вызвать у Вас симпатию. Признаюсь, что, не будучи большой любительницей ли­тературы, я читала Вас мало, хотя все же достаточ­но, чтобы убедиться, что интересующие меня вопросы Вам безразличны; во всяком случае, я не обнаружила в Ваших книгах ни единого упоминания о них. Затраги­ваемые Вами темы никогда не соприкасаются с тем, к чему Вы относитесь как к «случайным совпадениям», недостойным Вашего внимания, тогда как здесь Вы найдете всего лишь беспорядочное изложение проблем практического свойства. Ваш дух занят абсолютом, тогда как я пребываю в относительном. Для меня воп­рос не ставится, как для создаваемых Вами героев и для Вас самого, в пространной и обобщенной манере* «что может мужчина?», *для меня этот вопрос имеет практическое значение и стоит весьма конкретно: «На что в наши дни может и вправе надеяться жен­щина?»*

*Разве есть что-либо неестественное в том, что я, еще достаточно молодая женщина, ставлю эту «про­блему» на самое первое место? Важная и без того, в на­ши дни она обретает совершенно особенное значение. Да, ведь лишь после войны, когда столько женщин про­демонстрировали примеры доблести и энергичного по­ведения, на которые мужчины считали их неспособны­ми, за ними стали признавать право, и они сами ста­ли его отстаивать, право еще на какие-то добродете­ли, помимо таких, со знаком минус, как преданность, покорность, верность; преданность мужчине, покор­ность мужчине, верность мужчине; ибо вплоть до са­мого последнего времени считалось, будто все доброде­тели со знаком плюс должны быть достоянием мужчи­ны и будто все они по-прежнему должны оставаться в его ведении. Я полагаю, сейчас уже никто не станет отрицать, что после войны положение женщины зна­чительно изменилось. Возможно, не случись эта страшная катастрофа, женщины так и не смогли бы сделать очевидными свои казавшиеся ранее исключи­тельными качества, а их достоинство по-прежнему не принималось бы во внимание.*

*Книга моей матери обращалась к прошлому поколе­нию. Во времена молодости моей матери женщина могла желать себе свободы; в настоящее время речь идет уже не о том, чтобы желать ее, а о том, чтобы взять ее. Как и с какой целью? Этот вопрос является главным, и я постараюсь ответить на него, во всяком случае в той мере, в какой это касается меня.*

*Я не собираюсь ставить себя в пример, но мне ка­жется, что простой рассказ о моей жизни способен сыг­рать роль предупреждения; я предлагаю его в качестве продолжения дневника моей матери, в качестве «Ново­го урока женам». И чтобы показать, что это всего лишь один пример среди многих иных примеров, я назва­ла его «Женевьевой», тем вымышленным именем, под которым я фигурирую уже в дневнике моей матери.*

ЧАСТЬ I

В 1913 году, когда мне исполнилось пятнадцать лет, мать определила меня в лицей, несмотря на сильное не­одобрение моего отца. Однако, несмотря на то что внешне отец выглядел человеком решительным, он не обладал сильной волей и всегда уступал, беря потом ре­ванш за свое поражение в виде постоянной мелкой кри­тики. По его мнению, именно это лицейское воспита­ние оказалось повинным в том, что он называл «откло­нением в мыслях», а впоследствии — в том, что стало «отклонением в поведении».

От матери я унаследовала определенную любовь к труду и прирожденную усидчивость, которую она под­держивала, делая вид, что и сама благодаря мне повы­шает свой уровень образования. Когда я возвращалась из лицея, она помогала мне с домашним заданием, учи­ла со мной уроки, а я пересказывала ей все, что усвои­ла в классе, подобно тому как другие рассказывают, что они видели и слышали во время прогулки по горо­ду. Мне кажется, что это создало у нее иллюзию, что я оказывала на нее больше влияния, чем она на меня. Эту иллюзию — если считать ее таковой — она старалась создавать и у меня, и ничто не способствовало в такой степени моему взрослению, поддержанию у меня рве­ния и формированию определенной недостающей ей са­мой уверенности в себе, как этот метод воспитания.

Матери я обязана также и горячим стремлением, по­требностью быть полезной и, хотя в латентном состоя­нии это стремление присутствовало во мне от рожде­ния, она сумела разбудить его и постоянно активизиро­вала. У матери оно питалось необыкновенной любовью к бедным, страждущим и всем тем, кого отец называл (чего никогда не позволяла себе мать) «низшими». Мне не хочется вспоминать об этом, тем более что ни в дневнике моей матери, ни в оправдательной речи отца про это не говорится ни слова. Мать, не щадя себя, пре­давалась добрым делам, не просто стараясь не привле­кать к ним внимания, но даже утаивая их, как, впрочем, и все остальные дела, за которые можно было снискать похвалу. Эта крайняя застенчивость и эта скрытность (которые, следует признать, мне не передались) дохо­дили у нее до того, что можно было очень долго жить рядом с ней, не подозревая о ее добродетелях. А вот отец, напротив, испытывал настолько же постоянную потребность подчеркивать свои заслуги, насколько у матери была потребность стушевываться. Казалось; что он придает больше значения видимости добродетели. Я не думаю, что он был лицемером и что он не пытался стать таким, каким старался казаться; просто у него жест или слово всегда опережали чувство или мысль, в результате чего он постоянно опаздывал и как бы оста­вался в долгу у самого себя. Мать от этого очень стра­дала, а я слишком любила ее, чтобы не испытывать к отцу нечто похожее на смесь презрения с ненавистью.

В классе моей соседкой справа была девочка, ко­торая больше, чем кто-либо еще из соучениц, притяги­вала и удерживала мой взгляд. У нее была смуглая ко­жа, а завивающиеся, почти кучерявые волосы скрыва­ли виски и часть лба. Нельзя сказать, чтобы она была очень уж красива, но ее необычный шарм очаровывал меня больше, чем красота. Ее звали Сарой, и когда ка­кое-то время спустя я читала «Осенние молитвы» Гю­го, то именно ее я представляла себе «беспечной кра­савицей», качающейся в гамаке. Одевалась она при­чудливо, декольте ее платья открывало взору хорошо сформировавшуюся грудь. Ее руки, редко отличавши­еся чистотой, с обгрызенными ногтями, были неверо­ятно тонкими.

— Чего это вы так меня рассматриваете? — резко спросила она меня в первый день.

Я отвела глаза в сторону, сильно покраснев, и не по­смела ей сказать, что нахожу ее обворожительной. Дру­гие ученицы не разделяли моего мнения, и в долетав­ших до меня обрывках бесед все сходились на критике ее «цыганского» цвета лица. Ее серьезный вид и почти постоянно нахмуренные брови, слегка морщинившие ее красивый лоб, похоже, свидетельствовали о каком- то напряжении воли, о внимании — мне хотелось бы знать, к чему, потому что было ясно, что конечно же не к уроку. Когда учитель вдруг ее спрашивал, оказыва­лось, что она ничего не слушала, и если в моменты со­средоточенности она казалась старше любой из нас — хотя однажды в разговоре она сказала, что ей ровно столько же лет, сколько и мне, — то внезапные прояв­ления радости, нечто вроде приступов веселья, тут же вновь возвращали ее в детство.

С первых же дней у меня возникло к ней какое-то смутное чувство, не возникавшее у меня еще ни к ко­му и казавшееся мне таким новым, таким странным, что я даже сомневалась, я ли это, Женевьева, его испы­тываю, или же я оказалась во власти какой-то посторон­ней личности, которая лишила меня моей воли, моего тела. Однако Сара, казалось, совсем меня не замечает, а я не знаю, на какие экстравагантные поступки была готова, чтобы только привлечь ее внимание. Я пыталась угадать, что могло бы ей понравиться; к сожалению, она казалась нечувствительной к любым школьным ус­пехам, и мне оставалось лишь сожалеть, что она, по крайней мере с виду, так мало внимания уделяла моим. Когда я к ней обращалась, она едва отвечала мне: каза­лось, то, о чем я ей говорила, никогда ее не интересо­вало. Она конечно же отнюдь не была глупой, и ее пре­стиж находился в моих глазах на такой высоте, что я просто не могла поверить, чтобы в какой-либо области она не была выше всех; вот только мне никак не удава­лось обнаружить в какой. И однажды, в день, когда про­водился конкурс декламирования стихов, я вдруг поня­ла. После того как несколько учениц, в том числе и я, с грехом пополам оттараторили кто стансы из «Сида», кто сон из «Афалии», кто рассказ Терамены, с единст­венной заботой о том, чтобы не сбиться, словно все эти стихи были написаны лишь для того, чтобы мы могли тренировать на них свою память, — учительница фран­цузской литературы вызвала Сару:

— Только, пожалуйста, не с места; подойдите сюда, к кафедре, и покажите нам, как нужно читать стихи.

Сара, нисколько не смутившись, вышла к доске, по­вернулась лицом к классу и начала читать первую сце­ну из «Британика». Ее голос, звучавший богаче и тор­жественнее, чем обычно, обретал звучность, о которой я и не подозревала. Так же, как и другие ученицы, я знала эти стихи наизусть: учительница комментирова­ла нам их, указывала на их достоинства, но я не отда­вала себе отчета, насколько они красивы. Их красота стала вдруг для меня очевидной благодаря чтению Са­ры; *и* едва ли не религиозная дроЖь пробрала все мое тело, спустившись по спине, в то время как глаза на­полнились слезами. Даже учительница выглядела рас­троганной.

— Мадемуазель Келлер, — произнесла она наконец, когда чтение было закончено, — мы все благодарим вас. С вашими талантами просто непростительно не ра­ботать больше.

Сара сделала короткий иронический реверанс, что- то вроде пируэта, и заняла свое место рядом со мной.

Я вся дрожала от восхищения, от восторга, который мне хотелось бы выразить ей, но в голову приходили только такие фразы, которые я не смогла произнести, опасаясь, как бы они не показались ей смешными. Урок должен был вот-вот закончиться. Я быстро вырвала страницу из тетради, дрожащей рукой написала на этом листке: «Я хотела бы быть Вашей подругой», и нелов­ким жестом пододвинула записку к ней.

Я увидела, что она смяла бумажку, крутя ее между пальцев. Я тщетно ждала взгляда, улыбки — ее лицо ос­тавалось бесстрастным и непроницаемым, как никогда. Я почувствовала, что не смогу вынести ее презрения, и уже готова была возненавидеть ее.

— Разорвите же тогда, — сдавленным голосом ска­зала я ей. Однако она неожиданно развернула бумаж­ку, разгладила ее ладонью, как бы приняв какое-то ре­шение... В этот момент я услышала свое имя: учитель­ница вызвала меня. Мне пришлось встать, чтобы маши­нально рассказать одно коротенькое стихотворение Виктора Гюго, которое я, к счастью, знала очень хоро­шо. А когда я села, Сара сунула мне в руку мою запи­ску, на обороте которой она написала: «Приходите к нам в это воскресенье в три часа». Сердце мое напол­нилось радостью, и, осмелев, я произнесла:

— Но я не знаю, где вы живете!

На что она ответила:

— Дайте мне бумажку.

И пока все остальные ученицы собирали свои школьные принадлежности и вставали, направляясь к выходу, так как урок уже закончился, она написала внизу: «Сара Келлер, улица Кампань-Премьер, 16».

Я осторожно добавила:

— Только сейчас я еще не могу точно сказать, смо­гу ли я прийти: мне нужно спросить у мамы.

Она не то чтобы улыбнулась, но уголки ее губ при­поднялись. Поскольку это могло выражать насмешку, я быстро добавила:

— Просто я боюсь, что мы уже куда-нибудь пригла­шены.

Живя совершенно в другом квартале, достаточно далеко от лицея, я распрощалась с Сарой сразу, как толь­ко мы вышли на улицу. Мать, выражая мне свое дове­рие, не приходила за мной в лицей, но брала с меня обещание идти сразу домой и не тратить время на раз­говоры с подругами. В тот день половину пути я не шла, а бежала — так торопилась сообщить ей о приглашении Сары. Я отнюдь не была уверена, что мать разрешит мне принять его, так как, если не считать лицея, она очень редко отпускала меня куда-либо одну. Обычно у меня не было от нее никаких секретов; тем не менее что-то до сих пор не позволяло мне говорить ей о Саре. Так что мне пришлось рассказать сразу и о чтении «Британика», и о моем восторженном восприятии, которое я не пыта­лась скрывать, и о том необычном влечении, которое мне в любом случае не удалось бы не выдать, посколь­ку оно то и дело прорывалось в моем рассказе. Когда *я* наконец спросила ее: «Ты разрешишь мне к ней схо­дить?» — мама ответила не сразу. Я знала, что ей всег­да было трудно в чем-либо отказывать мне:

— Мне хотелось бы узнать немного больше о твоей новой подруге и о ее родителях. Ты спрашивала у нее, чем занимается ее отец?

Я призналась, что не подумала об этом, и пообещала справиться. От воскресенья нас отделяли еще два дня.

— Завтра, по окончании занятий, я зайду за тобой, — добавила мать. — Постарайся представить мне эту де­вочку: я хочу с ней познакомиться.

В субботу я наблюдала за Сарой с беспокойством, спрашивая себя, какое у мамы сложится о ней впечат­ление. Мне показалось, что она выглядит более не­брежно одетой, чем обычно, и что особенно растрепа­на у нее прическа.

— Немного причешите волосы, — в конце концов робко сказала я ей.

— Зачем?

— Сегодня за мной заедет мама. Она хотела бы с ва­ми познакомиться.

— Понятно, прежде чем решить, отпустить вас в воскресенье ко мне или нет; я угадала?

Отрицать было бесполезно, тем не менее мне не хо­телось выглядеть слишком зависимой от воли матери.

— Возможно, — сказала я. — О! Мне так хотелось бы, чтобы вы понравились ей! — Я удержалась от того, чтобы добавить: «И чтобы она вам тоже понрави­лась...» — но тут же с беспокойством подумала о том, какие мать наденет платье и шляпу.

— Не очень мне нравится этот экзамен, — сказала Сара.

Однако, когда мы вышли, она не скрылась, как я опасалась. Мама была уже перед дверью. Думаю, что и ей тоже хотелось понравиться моей подруге: во всяком случае, еще никогда она не казалась мне такой очаро­вательной.

— Женевьева много говорила о вас, — сказала она с изысканной доброжелательностью. — Мне хотелось бы услышать, как вы читаете эти строки Расина. Они такие прекрасные... Но я не думаю, что вы так хорошо чита­ли бы, если бы не любили их.

Она явно старалась разговорить Сару. Та была, вне всякого сомнения, гораздо менее взволнована, чем я.

— О, разумеется, — сразу ответила она, — но все же я предпочла бы читать Бодлера.

Я тогда ничего еще не читала Бодлера и опасалась, что и мама тоже знает его не лучше; не выдаст ли она меня своей неосведомленностью?

— Что, например?

— О, лучше всего «Смерть любовников».

Я почувствовала, что краснею. Такое название на­верняка должно было шокировать мою мать. Я смотре­ла на нее. Она улыбалась.

— Но это вроде бы поэзия не для лицея, — сказала она. — У вас есть братья и сестры?

— Мой старший брат служит сейчас в Алжире, — от­ветила Сара, потом, как бы предвосхищая вопрос моей матери, добавила: — Отец у меня художник.

— Как, вы дочь Альфреда Келлера, чьими полотна­ми восхищались все посетители последнего Салона?! — воскликнула моя мама. — Теперь мне понятны ваши художественные пристрастия.

Я была в восторге, узнав, что отец Сары знаменит, однако на мамин лоб внезапно набежала тень, и, к мо­ему огорчению, она добавила:

— Я знаю, что вы пригласили Женевьеву на вос­кресенье; к сожалению, в это воскресенье она будет занята.

Сара суховато отреагировала:

— Жаль.

— Как-нибудь в другой раз, — произнесла моя мать, протягивая ей руку.

И едва Сара отошла от нас, как она сказала:

— Но ты мне не говорила... Она же еврейка!

Для меня это слово не значило почти ничего. Я зна­ла священную историю, знала, кем евреи были в те времена, но у меня не было ни малейшего понятия о том, что они собой представляют сейчас. Едва замет­ный нюанс в ее голосе больно кольнул меня в самое сердце.

— Еврейка?! — воскликнула я. — Как ты узнаёшь это?

— Достаточно взглянуть на нее. Кстати, она очень красивая. — И, как бы развивая две мысли сразу, доба­вила: — А вообще у вас в лицее много евреек.

Тут я рискнула спросить:

— Это только потому, что она еврейка, ты не отпу­скаешь меня к ней? Почему ты сказала, что я в воскре­сенье занята? Ты же знаешь, что это неправда.

— Но, детка, ведь не могла же я грубо заявить ей, что мы отвергаем ее приглашение. Это не ее вина, что она родилась еврейкой и что отец у нее художник. Я не хотела огорчать ее. И кстати, — добавила она, видя, как мои глаза наполняются слезами, — у евреев очень мно­го достоинств, а некоторые из них просто замечатель­ные люди. Но я все же предпочитаю не отпускать тебя в столь отличающееся от нашего общество, прежде чем не наведу кое-какие справки.

— О! Мама, мне так бы хотелось...

— Не в этот раз, доченька. Не настаивай. К тому же сейчас уже поздно... — Потом, более ласковым голо­сом: — Ну послушай, Женевьева, ты же знаешь, как мне всегда тяжело огорчать тебя.

Да, я знала это, но мне казалось, что, отказывая мне, мать делает уступку в пользу условностей, причем не столько важных лично для нее, сколько определяемых нашим окружением, ситуацией нашей семьи, нашим со­циальным статусом, я смутно ощущала это; и обычно она учила меня не принимать во внимание подобного рода доводы. При этом было вполне естественно, что она не могла позволить мне, такой юной и еще такой по­датливой, посещать подозрительных личностей. Это я тоже как-то смутно ощущала и в глубине души, возмож­но, даже одобряла ее решение. Однако мне казалось, что нагромождение условностей отделяет меня от моей новой подруги, и от этого мне было ужасно грустно.

— Вообще-то, — продолжила мама после долгой па­узы, — я не запрещаю тебе видеться с твоей подругой; может быть, даже ты сможешь как-нибудь пригласить ее к нам в гости. Я скажу тебе об этом позднее.

Разумеется, она переживала оттого, что причинила мне боль; казалось, она пытается чуть ли не извиниться передо мной, чтобы уменьшить ее. Но вскоре эта боль стала еще острее. Когда в понедельник я встретилась с Сарой, та сказала мне:

— Жалко, что ваша мать не позволила вам прий­ти. — И тут же отметила с некоторой долей жестокости, желая добавить к моим сожалениям еще и горькую от­раву ревности: — А Жизель пришла. Папа водил нас в Ледовый дворец. Жизель подвернула там ногу, поэтому сегодня она не пришла на занятия. Но зато мы так хо­рошо повеселились.

Жизель Пармантье была лучшей в нашем классе ученицей. Ее отец, уже давно умерший, был, как гово­рили, одним из самых известных профессоров Колле­жа де Франс. А мать ее была англичанкой. И Жизель, единственный ее ребенок, говорила по-английски так же хорошо, как и по-французски. Ум у нее был скорее глубокий, чем живой. Казалось, ей не составляет ника­кого труда опережать по успеваемости всех остальных учениц в классе. Но в еще большей степени она привле­кала мое внимание из-за ее теплых отношений с Сарой. Они подолгу разговаривали друг с другом, причем она была едва ли не единственной, с кем Сара вела беседы. Жизель, напротив, часто на переменах оказывалась в кругу других учениц и, похоже, совершенно не обраща­ла внимания на меня, «новенькую». Она сидела на дру­гом конце класса, и мне удавалось приблизиться к ней лишь в короткие минуты перемены, когда мы рассеива­лись по просторному, усаженному деревьями двору. Однажды, когда я подошла к оживленно что-то обсуж­давшей группе, в центре которой находилась Жизель, одна ученица, резко обернувшись ко мне, спросила мое мнение по какому-то щекотливому вопросу, вызывав­шему разногласие, а поскольку я не смогла ответить сразу, другая ученица воскликнула:

— Вы же видите, что мадемуазель слишком хорошо воспитана, чтобы сметь высказать свое мнение. Она бо­ится скомпрометировать себя.

Эта реплика показалась мне чудовищно несправед­ливой. Я тут же почувствовала себя способной доказать Жизель, что заслуживаю уважения, в котором мне не­справедливо отказывают, чтобы убедить ее, а глав­ное — саму себя, что страх скомпрометировать себя, несмотря на мою сдержанность и мою видимость «че­ресчур хорошо воспитанной» девочки, меня бы не оста­новил. Способной на... а вот на что способной, я как раз и не знала. Я пожала плечами и прошептала:

— Тот, кто больше всего рассуждает, это не тот...

— Что она говорит? что она говорит? — послыша­лось сразу несколько невнятных голосов.

— ...это не тот, кто действует.

Едва я произнесла свою фразу, как она тут же пока­залась мне абсурдной. К счастью, никто не захотел мне ответить.

Когда Сара сообщила мне, что Жизель подвернула ногу, я ощутила приступ злорадства. «Несколько дней можно будет свободно дышать», — подумала я. Жизель и Сара были единственными ученицами, с кем я хоте­ла дружить. Не замечаемая одной и вынужденная по на­стоянию матери отвергнуть встречные шаги другой, я тяжело переживала свое одиночество и погружалась в меланхолию, когда мать, явно заметившая мою грусть, сообщила мне, что она убед ила моего отца написать от­цу Сары и пригласить его вместе с ней на один из на­ших «четвергов».

Мама не имела своего дня, дня приемов, и даже ис­пытывала ко всем светским обязанностям отвращение, которым отец без устали ее попрекал. Он считал ее от­ветственной за свои неудачи, так как, подобно всем лю­дям, не являющимися ценными личностями, предпочи­тал считать, что все на свете добывается с помощью ин­триг и житейской ловкости. Я полагаю, что большая часть того, что он выспренно называл своим «трудом», состояла из отданных и полученных поклонов, кото­рым он вел строгий учет. И я прекрасно понимаю, по­чему мать не приняла подобных правил игры, рискую­щих, как она говорила, сделать менее чувствительной совесть и нанести вред моральной и интеллектуальной честности, которую она хотела сохранить у меня в не­прикосновенности. Никакие доводы не могут помешать мне судить отца еще более строго, чем делала это она в своем дневнике. Я полагаю, что попытки навязать силой уважение к родителям только уродуют формиру­ющийся характер ребенка, если эти родители недостой­ны уважения сами по себе. Зато мать я, напротив, почи­тала, и моя любовь к ней граничила с преклонением. Что же касается отца, то я скоро перестала принимать его всерьез. Очевидно, все эти мои соображения ребен­ком я формулировала совсем иначе. Но уже тогда я с трудом сдерживалась, видя, как он противоречит сам себе, защищая, словно свое кредо, заимствованные, как мне хорошо было известно, мнения, демонстрировал возвышенные, но лишенные реального содержания чув­ства или же делал вид, что проявляет непреклонность в отстаивании своих убеждений, за которыми скрывался самый дряблый и самый сговорчивый из всех сущест­вующих не свете характеров. Свои мелкие нравствен­ные уступки он, как правило, называл «умением жить», а свои неудачи списывал на счет своей деликатности, своей «чрезмерной» честности, своей совестливости, обнаруживая при этом приводившие в отчаяние мою бедную мать изобретательность и наивность. Впрочем» она об этом говорит гораздо лучше, чем я, и то, что го­ворю я, ничего к уже сказанному не добавляет.

Сколько читателей возмутятся и начнут упрекать меня за столь вольные высказывания о собственном от­це! Но я пишу не для этих читателей, а к тому же я ре­шила пренебречь всеми соображениями, связанными с так называемыми приличиями, благопристойностью, деликатностью. Мой рассказ имеет смысл только в том случае, если он будет совершенно откровенным; а если эта откровенность напоминает порой цинизм, то проис­ходит это, как мне кажется, от укоренившейся у людей привычки смотреть на вещи искоса и вообще никогда не касаться некоторых тем, а если и касаться, то с ты­сячами успокоительных оговорок; я же решила смот­реть фактам прямо в лицо, как они того заслуживают.

Я убеждена (впрочем, сейчас делюсь мыслями, вознпикающими у меня спонтанно), я все больше и больше прихожу к выводу, что лишь очень немногие из наших несчастий не связаны с невежеством и что бороться с ними можно, лишь решившись анализировать возника­ющие проблемы при ярком свете дня. Соображения мо­рали и стыдливости здесь совершенно неуместны: они лишь запутают наши проблемы. И, кроме того, среди последних есть такие, к которым мы подходим с пара­лизующей сдержанностью, сравнимой с той скромно­стью, что препятствовала прогрессу медицины и всем точным анатомическим знаниям все то время, пока ос­мотр человеческого тела считался неприличным и наносящим ущерб. Любому движению к тому, что могло бы быть, ко всем реформам и улучшениям, как на уров­не общества, так и на уровне инд ивида, должен предше­ствовать внимательный анализ того, что есть. Я здесь не роман пишу и не буду против, если какие-то из моих со­ображений прервут мой рассказ, поскольку, должна признаться, они дороже мне самого рассказа. Я делюсь здесь своим жизненным опытом в надежде, что он ока­жется для кого-то поучительным, что кто-то найдет в нем поддержку. Так что я воздержусь от комментари­ев, даже если это повредит «художественным достоин­ствам» этих страниц. Я уже упоминала о том, что не ис­пытываю особой приязни к литературе. Мне даже ка­жется, что некоторое совершенство, о котором я запре­щаю себе думать, могло бы быть достигнуто лишь за счет истины. Ведь когда речь идет не об абстракциях, а о жизни, истина становится сложной, невнятной, неоп­ределенной и не поддается никакой эпюре, к чему, кстати, у меня нет никакого таланта. Не важно, что ин­терес к этим страницам, не будет долговечным. У меня нет ни малейшего намерения запечатлевать нечто веч­ное, тут я не собираюсь тешить себя иллюзиями, и если то, что причиняло мне боль вчера, что занимает мои мысли сегодня, перестанет представлять какой бы то ни было интерес, я буду этому только рада.

Так что мы весьма далеки, господин Жид, от тех со­ображений, которыми руководствуетесь Вы при напи­сании своих книг. Вы говорили, насколько я припоми­наю: «Я пишу, чтобы меня перечитывали»; что касается меня, то я, напротив, пишу, чтобы помочь тому или той, кто меня читает, перейти к чему-то другому. Все, что способствует прогрессу, все, что помогает человеку возвыситься хоть немного над его теперешним состоя­нием, должно вскоре быть отброшено ногой, как сту­пенька, на которую вы сначала опирались.

Раз в неделю мой отец приглашал на ужин некото­рых особ, чьего благоволения ему хотелось снискать. В такие вечера я отправлялась ужинать к своим кузенам Флобервилям. На следующий день обед пополнялся ос­татками пиршества, имевшего место накануне, и отго­лосками вчерашних бесед. Отец в такие дни казался больше, чем когда-либо, преисполненным сознания соб­ственной значимости.

Помимо этих приемов, мы имели обыкновение дер­жать двери нашей квартиры открытыми по четвергам для нескольких верных друзей, среди которых были доктор Маршан и его жена, которые, как я понимала, являлись скорее друзьями матери, чем отца. Встал воп­рос (как рассказала мне мать), пригласить ли отца Са­ры на один из торжественных ужинов или же на одну из дружеских встреч. Ужин подошел бы ему больше, но трудно было решить, кто мог бы составить компанию этому новичку... Дело в том, что папа боялся, как бы Келлер не «произвел плохого впечатления». Папа охот­но говорил о своей свободе сознания, кстати из чисто­го позерства, так как, с другой стороны, он укрепился в притворных мыслях. Он говорил всем кому ни при­дется, что человеку, обладающему талантом, можно простить все, однако сам он, не обладая талантом, не прощал ничего, и ничто не претило ему в большей сте­пени, чем то, что он называл «отсутствием умения жить», потому что иных умений у него не было. Кроме того, не будучи записным антисемитом, он все же ко всем евреям относился с настороженностью. Принять Келлера во время одного из дружеских вечеров ни к чему не обязывало, а кроме того, единственной целью этого приглашения было дать пообщаться мне с Сарой, хотя отец и не скрывал своей досады, оттого что его дочь дружит с кем-то, не принадлежащим к нашему кругу.

Потом отец еще больше порадовался, что принял та­кое решение, так как в ответ на приглашение Келлер нам сообщил, что он «никуда не ходит без жены». Сле­довательно, Сару должна была сопровождать госпожа Келлер.

Вечер, от которого я ждала столько приятных впе­чатлений, явился для меня причиной несказанных мук. Даже с моим детским восприятием в момент появления у нас Сары и ее родителей бросилась в глаза абсолют­ная неуместность их появления в нашей буржуазной го­стиной. Я (равно, как и мои родители) узнала лишь мно­го позднее, что Келлер не был официально женат и что мать Сары, вышедшая из самых низов (как, впрочем, и он сам), прежде чем стать его подругой, была его на­турщицей. Если послушать моего отца, то выходило, что «жениться на своей натурщице» являлось верхом падения, хотя, когда он узнал, что Келлер «даже не же­нился» на ней, его презрение еще больше усилилось. Обо всем этом мы тогда ничего еще не знали, а то бы, по словам моего отца, «естественно, не стали бы их приглашать». Я также узнала впоследствии, что семья у них была очень дружная, в связи с чем отец потом то­же говорил, что «это ровным счетом ничего не меня­ет». Госпожа Келлер, вероятно, была когда-то очень красивой; она и продолжала оставаться красивой, хотя, к сожалению, сильно располнела. Ее наряд был слиш­ком броским для нашей тусклой среды, «экстравагант­ным», как выразился мой отец на следующее утро, тот­час подчеркнув скромную сдержанность туалетов гос­пожи Маршан и моей матери. Но по контрасту темные и закрытые платья их обеих тотчас же показались мне старомодными, тесными и прилично-скучными. Что ка­сается меня самой, то я в тот вечер надела скромное-прескромное платье и ощущала себя страшно чопорной рядом с Сарой, гармонично и как бы небрежно облегае­мой темно-красным мягким шелком, теплый оттенок которого подчеркивал янтарный тон ее кожи. Не то чтобы я придавала какое-то чрезмерное значение кос­тюму, но при соприкосновении с грацией и непринуж­денностью Сары и из-за исключительной симпатии к ней, заставившей меня увидеть ее глазами наш интерь­ер, среду, в которой *я* жила до последнего времени, она предстала передо мной во всей своей убогости и напол­ненной условностями пошлости. Люстра, обои, кресла, мебель — все вокруг потеряло свою привлекатель­ность, поблекло, обуржуазилось. И ведь нельзя сказать, что обстановка у нас была какой-то уродливой, как нельзя было бы упрекнуть отца или мать в том, что обычно называется «дурной вкус», но и он, и она шли на поводу у принятых норм: насколько же само прили­чие удовлетворявшего их буржуазного стиля стало ка­заться жалким и глуповато-робким от присутствия гос­пожи Келлер и Сары в их ярких туалетах.

— Надо же, какая богатая у вас обстановка! — бы­ли первые слова Сары, которые она произнесла неопре­деленным тоном, выражавшим удивленное восхищение и еще что-то вроде легкой и, как мне показалось, пре­зрительной иронии, заставившей меня покраснеть.

Мой отец, который навел справки, сказал нам, что картины Келлера расходились хорошо и что продавал он их очень дорого. Однако, когда я немного позже по­пала в мастерскую отца моей подруги, я не увидела там никаких особых признаков богатства. У нас же, напро­тив, все, казалось, называло цифру наших доходов.

У меня не возникало ни малейшего сомнения в том, что Келлеры произвели на моих родителей дурное впе­чатление: несмотря на мой юный возраст, я не могла этого не заметить, равно как и огромные усилия моих родителей скрыть это. В тот вечер все стремились по­казать, насколько они чувствуют себя естественно и не­принужденно, и только одна я страдала от этого несоот­ветствия; возможно, я так переживала из-за моей ис­кренней симпатии к Саре. Я постаралась проявить к ней свое участие, пока наши родители обсуждали картины, висевшие у нас на стенах. Большинство этих полотен принадлежало кисти нашего друга Бургвайлсдорфа; отец извлек их из шкафов после недавней смерти ху­дожника, так как торговцы и публика тут же внезапно осознали их ценность. Кстати, папа, занимавшийся тог­да художественным журналом, немало, по его словам, сделал для того, чтобы «ввести его в обиход» и добить­ся для него после смерти славы, которой он был обде­лен при жизни.

— Вы знаете, — сказала мне Сара, — папа делает вид, что это ему нравится, а на самом деле он терпеть не может такого рода живопись.

— А вы? — опасливо спросила я.

— О! Меня живопись не интересует. Она у меня по­стоянно перед глазами. Я люблю только музыку и поэ­зию.

Мне невероятно хотелось бы увидеть в благоприят­ном свете родителей моей подруги, но насколько же вульгарной показалась мне госпожа Келлер рядом с моей матерью и госпожой Маршан. Она смеялась по любому поводу, смеялась чересчур громко, откидывая голову назад и прыская за большим развернутым вее­ром. Позднее, узнав ее получше, я обнаружила, что она превосходная женщина, но довольно глупая и исключи­тельно невежественная. Что касается Келлера, то я не понимаю, как он, будучи похожим на свою дочь, в то же время был настолько некрасив. Я не могу припом­нить ни одну из его фраз, которые он произносил очень уверенным тоном, но зато мне запомнилось вполне яв­ное раздражение, которое они вызывали у доктора Маршана.

Когда подали напитки, Маршан воспользовался сме­ной действия, чтобы попросить Сару что-нибудь почи­тать.

— Женевьева рассказала нам о вашем необыкновен­ном таланте, — сказал он. — Я полагаю, что собравшие­ся здесь люди способны получить большее удовольст­вие от стихов в вашем исполнении, чем ваши школьные подруги.

Сара упрашивать себя не заставила. Но она не мог­ла решить, что ей лучше прочитать, и спросила, что бы мы желали услышать.

— А почему бы не прочитать, — ласково сказала моя мать, — как раз «Смерть любовников», поскольку в про­шлый раз вы сказали мне, что это стихотворение вы лю­бите больше всего?

— Одна из вершин французской поэзии, — нраво­учительно произнес папа. — Вам нужна книга, мадему­азель?..

Потом он добавил, что Бодлер является его люби­мым поэтом и что с «Цветами зла» он не расстается ни­когда. И он тут же снял с полочки маленькой вращаю­щейся библиотеки на рояле томик, которым ему навер­няка захотелось похвастаться из-за его роскошного пе­реплета, так как вряд ли у него были сомнения в том, что Сара будет читать наизусть. Она прислонилась спи­ной к роялю с улыбкой и одновременно с выражением страдания на лице, делавшим ее еще прекраснее, и про­читала ровным, полнозвучным, но вместе с тем неверо­ятно мягким и приглушенным голосом это восхититель­ное и ранее незнакомое мне стихотворение. Призна­юсь, я не очень чувствительна к поэзии и, скорее всего, не обратила бы на него внимания, если бы прочитала его сама. А в исполнении Сары оно дошло до самого мо­его сердца. Слова теряли свой смысл, и я даже не очень старалась понять их; каждое из них превращалось в му­зыку, вызывая какие-то неуловимые ассоциации с по­груженным в сон раем; и на меня вдруг снизошло от­кровение иного мира, по отношению к которому внеш­ний мир является лишь бледным, тусклым отражением.

— Сара, — сказала я ей чуть позже, — каким бы кра­сивым ни был поэтический мир, мы ведь не в нем жи­вем и действуем. Так зачем же пробуждать в себе нос­тальгию по нему?

— Только от нас зависит, где жить: в нем или за его пределами, — ответила она.

В тот вечер я узнала, что она готовит себя к карье­ре артистки. Впоследствии мне доводилось видеть, как она отдавала себя во власть вымышленным, переселяв­шимся в нее персонажам вплоть до полной утраты соб­ственного характера. Сейчас я думаю, что нехорошо (я собиралась даже сказать: нечестно) отбрасывать го­рести нашей планеты, подобно мистикам, перемещаю­щимся в свои грезы о будущей жизни, и этот уход от ре­альности кажется мне чем-то вроде дезертирства. Но в тот вечер я не пыталась возражать, я просто отдавалась очарованию голоса Сары, словно заклинанию.

По просьбе моего отца Сара прочитала еще «При­глашение к путешествию» и «Фонтан». Я была приятно удивлена, услышав суждения отца о Бодлере, которые мне очень понравились; суждения, как всегда, чужие, благополучно присвоенные им.

— А она, эта малышка, уже сейчас настоящая актри­са. Но комедианты хороши на сцене. А то, что ты вра­щаешься в этом мире, мне не нравится, — заявил мой отец на следующий день.

Однако он не осмелился запретить мне ответить на приглашение Келлеров, которые пожелали ответить на вежливость вежливостью.

— Вот что значит ввести их к себе в дом, — сказал он. — Теперь и не откажешься.

Мой отец, всегда заботившийся о соблюдении при­личий, считал, что уклониться от того, что он считал светскими обязанностями, нельзя. Однако, когда по­следние были ему слишком уж неприятны, он возлагал их исполнение на мою мать; поэтому к сказанному он добавил:

— Вы сходите вдвоем. Я буду занят.

Ни о чем другом я не могла мечтать.

У Келлеров оказалось много людей. В большинстве своем художники и литераторы. Нас то и дело с кем-то знакомили, когда мы вошли в мастерскую, раз, навер­ное, двенадцать. Атмосфера, наполнявшая просторную, странно обставленную комнату, показалась мне как нельзя более неуютной; вероятно, и маме также, по­скольку на следующий день она мне сказала, что она ощущала там себя «потерянной» и что ей решительно не хочется поддерживать регулярные отношения с ро­дителями моей подруги. Ей не понравился стиль их жизни. Надо сказать, что, несмотря на большое свобо­домыслие, моя мать оставалась чрезвычайно сдержан­ным человеком.

— И при этом, — добавила она, — я нахожу твою подругу очаровательной и не хотела бы запрещать тебе с ней видеться. Она, разумеется, умна и обладает неза­урядным талантом. Однако ее способности, как мне ка­жется, настолько отличаются от твоих, что я бы удиви­лась, если бы. вы смогли долгое время находить общий язык друг с другом. Ты не сможешь последовать за ней туда, куда пойдет она, и если ты к ней привяжешься, то в дальнейшем это станет для тебя причиной грусти. Другая (как, кстати, ее зовут?)... мне кажется, гораздо ближе к твоим пристрастиям.

Этой другой была Жизель Пармантье, к которой я так долго, к моему огорчению, не могла приблизиться. Я ответила, что она дружит только с Сарой. И я бы не смогла сказать, кого я больше ревновала, будучи одно­временно увлечена обеими, хотя и совершенно по-раз­ному. Правда с Жизель речь совсем не шла о ее внеш­ней привлекательности, как в случае с Сарой, а скррее всего о какой-то глубине, загадочности. Нет, к чему я ревновала, так это к их дружбе. Тем вечером, в первый раз оказавшись вместе с ними обеими, я была смущена, как незваный гость, и не знала, что им сказать, а серд­це мое переполняли эмоции. Я надеялась услышать, как Сара будет читать стихи, однако какая-то девушка, ко­торая едва ли была старше нас, подошла к фортепьяно и запела, сама себе аккомпанируя. Сара увела нас, Жи­зель и меня, в другую комнату, пустую и ярко освещен­ную, отделенную от мастерской опущенной портьерой.

— Мои родители просят ее петь, — сказала она, — стараясь оторвать ее от учеников. Она зарабатывает се­бе на жизнь тем, что дает уроки игры на фортепьяно и пения. Но я не переношу ни ее голоса, ни ее манеры иг­ры. Впрочем, надо сказать, что папа — тоже, но он та­кой добрый... А вы, — добавила она, обернувшись ко мне, — вы добрая?

Мне показалось неосторожным ответить: да. К тому же я совершенно не была уверена в том, что я «добрая». К счастью, она не стала дожидаться моего ответа и про­должила:

— Вот Жизель, например, старается любить всех на свете. Я утверждаю, что это уже не любовь; это то, что Ведель (один из наших учителей) называет *филантро­пией.*

— Нет, я вовсе не стараюсь, — возразила Жизель. — Но мама всегда говорит...

— О! Госпожа Пармантье, — прервала ее Сара, — она сама доброта. Каждый раз, когда при ней на кого- то нападают, она возражает и принимает в расчет толь­ко то, чем можно оправдать его недостатки. Так что же говорит твоя мама?

— Что людей приятных гораздо больше, чем можно предположить, и что зачастую, чтобы больше полю­бить, нужно лучше понять, а чтобы лучше понять, нуж­но пристальнее вглядеться.

Жизель произнесла эту аксиому безо всякого педан­тизма, но с очаровательной важностью. Мне показа­лось, что если я сейчас же не заговорю, то буду обрече­на молчать весь оставшийся вечер. Звук моего голоса заранее наводил на меня ужас; я чувствовала, что он на­пряжен, и лишь с огромным усилием я заставила себя произнести:

— Мне кажется, что я не столько добра естествен­ной добротой, сколько способна сильно любить.

Я хотела добавить, что мне кажется, что любовь тем сильнее, чем она избирательней и чем на меньшее чис­ло людей она распространяется. Я бы хотела дать по­нять Жизель и Саре, что, говоря о том, что я люблю лишь немногих, я имею в виду их. Только вот как сфор­мулировать свою мысль так, чтобы она не показалась слишком вычурной? Это заявление, которое я хотела сделать и которое душило меня, заставило меня покрас­неть, словно я его на самом деле произнесла. Жизель и Сара посмотрели на меня, но поскольку больше ни од­но слово не собиралось слетать с моего языка, Сара продолжала:

— Есть много способов любить. Мне кажется, что лично у меня нет ни малейшего призвания, например, к супружеской любви.

— Что ты можешь знать об этом? — спросила Жи­зель. — Однажды, когда ты встретишь...

Сара опять перебила ее:

— О! Я вовсе не хочу сказать, что никогда ни в ко­го не влюблюсь. Но жертвовать ради него моими вкуса­ми, моей собственной жизнью, только и заниматься тем, что стараться быть ему приятной, угождать ему...

— Какое у тебя странное представление о браке!

— Да нет же, не странное, уверяю тебя, что это поч­ти всегда так. Когда женщина выходит замуж, у нее больше нет времени ни на что из того, чем она интере­совалась прежде. Ее хватает лишь на заботу о доме и о детях, если они у нее есть. Взять хотя бы Эмили Н. (это старшая сестра одной из «стареньких» из нашей шко­лы): она жила одной лишь музыкой, получила первую премию в консерватории. С тех пор как она вышла за­муж, она ни разу не открывала фортепьяно.

— Она же не могла взять его с собой в свадебное пу­тешествие.

— Нет, нет, она мне сказала, она сказала маме: с этим навсегда покончено... сказала, что у нее теперь слишком много забот, что она не стремится совершен­ствоваться в искусстве, которое отрывает ее от мужа. Это ее собственные слова.

— Ей оставалось лишь выйти замуж за музыкан­та, — отважилась пошутить я. На этот раз покраснеть меня заставила нелепость моего высказывания.

— А еще предусмотрительнее было бы вообще ни за кого не выходить, — ответила Сара.

Поскольку я возразила, что не очень-то весело, дол­жно быть, жить одной, она добавила:

— Это вовсе не значит обязательно быть одинокой.

Я, вероятно, не обратила бы внимания на ее слова, если бы у Жизель не вырвался возглас неодобрения, так что Саре пришлось отстаивать свое мнение:

— Еще скажи, что ты не думаешь так же, как *и* я! Ты возражаешь только из-за Женевьевы.

Тогда, не очень понимая, что повлекут за собой мои слова, движимая огромным желанием не оставаться в стороне, выразить мою симпатию, я воскликнула:

— Я тоже думаю как Сара. Не нужно меня бояться; я не очень хорошо выражаю свои мысли, потому что до сих пор мне не приходилось ни с кем болтать, но если бы вы меня знали, вы бы поняли, что я могу быть ва­шей подругой.

Я выпалила эти слова на едином дыхании, сделать это мне стоило невероятных усилий. Удивленная и смущен­ная словами, которые я осмелилась произнести, с беше­но бьющимся сердцем, я схватила одновременно руку Жизель и прижалась лбом к плечу Сары, чтобы скрыть свой стыд. Я почувствовала, как другой рукой Жизель нежно гладит мои волосы. Когда я подняла голову, лицо мое было в слезах, но все же мне удалось улыбнуться.

— Послушайте, — сказала Сара, — в таком случае мы сможем создать на основе нас троих лигу, тайную лигу, лигу независимости женщин. Нужно начать с то­го, что мы пообещаем никому об этом не рассказывать. Жизель, поклянись, не сходя с этого места, что ты ни­чего не расскажешь своей матери.

— А что ты хочешь, чтобы я ей рассказала? Тут и рассказывать-то нечего.

— Как это «нечего»? То, что мы объединимся и тор­жественно пообещаем оставаться верными нашей про­грамме, ты называешь «нечего»?

— Какой еще программе?

— Ее формулировкой мы займемся позднее. Но сна­чала необходимо поклясться никому об этом не расска­зывать.

До сих пор у меня никогда не было от мамы никаких секретов, но я согласилась, чтобы этот стал первым.

— Только прежде чем давать клятву, — сказала я, — я бы хотела знать, какие обязательства мы на себя воз­ложим.

Теперь я смеялась и начинала чувствовать себя вполне свободно. Сара сказала:

— Наша лига будет называться: ЖН, начальные бук­вы от слов «женская независимость». Нашей эмблемой будет ветвь тиса. Поскольку мы являемся основатель­ницами, никто не сможет вступить в ЖН без согласия нас троих. Вновь вступающие будут платить вступитель­ный взнос.

— Для чего? — спросила Жизель.

— Чтобы быть готовыми к... Никогда невозможно знать заранее к чему. В лигах всегда есть своя казна. Например, чтобы помогать матерям-одиночкам.

Жизель захохотала; ничто не было мне так приятно, как видеть сейчас ее лицо, — как оно, обычно такое серьезное, Внезапно просветлело.

— Я так и знала! — воскликнула она. — У Сары это идефикс. А я не согласна, моя дорогая! Я не хочу обе­щать, что никогда не выйду замуж. Я считаю, что даже в браке женщина может сохранить свободу и что к то­му же она не обязательно сохраняет ее в свободных со­юзах, в которых дети требуют не меньшей заботы, чем в официально зарегистрированных браках.

Это возражение кое-что для меня прояснило. Без не­го я бы не поняла, в чем заключалась идефикс Сары, но я не осмеливалась попросить дополнительных объясне­ний, поскольку боялась показаться либо слишком несве­дущей, либо слишком глупой. Я впервые слышала выра­жение «матери-одиночки» и не понимала его точного значения, так что, если оно меня несколько и шокиро­вало, я бы не смогла сказать, почему именно. Я долгое время искренне думала, что для того, чтобы иметь де­тей, брак является непременным условием. Вместе с тем для меня не были тайной реальные плоды близких взаимоотношений между двумя полами. Моя мать сочла небесполезным проинформировать меня о том, что в этом вопросе мужчина ничем не отличается от живот­ных. Однако эти интимные взаимоотношения в моем по­нимании были настолько тесно связаны с замужеством, что я и не предполагала, что они могут быть допустимы вне брака. Тем не менее мне хорошо были известны случаи, когда мужчины и женщины жили вместе, не со­стоя в браке. Простое размышление могло бы навести меня на мысль, однако целенаправленно на эту тему я никогда не думала. Кое-какие теоретические знания, ко­торые я могла приобрести, никак напрямую не соприка­сались с реальной жизнью.

Присутствие Жизель и Сары парализовало мое мышление, я отложила момент прояснения этого вопро­са на будущее. Честно говоря, лишь одно успокаивало меня: Сара не хотела выходить замуж, но при этом не намеревалась оставаться всю жизнь одна. Я воспользо­валась сопротивлением Жизель.

— Прежде чем вступить в лигу, я подожду, пока на это решишься ты, — сказала я.

Как-то непроизвольно я обратилась к ней на «ты». Я надеялась, что в ответ она тоже употребит «ты», но она обернулась к своей подруге:

— Понимаешь ли, Сара, мы прекрасно можем соста­вить лигу, но мы вступим в нее, только если пообеща­ем не идти против совести и не делать ничего в подра­жание другим.

— Или чтобы подчиниться общепринятым нор­мам, — вставила Сара.

— Да-а-а, — протянула Жизель с некоторым сомне­нием в голосе. Затем, обернувшись ко мне, добавила: — Я думаю, что мы можем это пообещать. Теперь мы со­единим свои правые руки, как дня клятвы Грютли, и скажем: клянусь оставаться верной ЖН.

Так мы и сделали в атмосфере чрезвычайной серь­езности.

Затем наступило продолжительное молчание, как после причастия. Тут вдруг Сара спросила у Жизель:

— О чем ты думаешь?

— Я думаю, что по-английски *If* означает «если» и что наше вступление остается несколько условным...

— Ну, если ты уже начинаешь увиливать...

В этот момент мать Сары приподняла занавес, отде­лявший нас от мастерской, в которой мы находились:

— Дети мои, а я вас ищу. Нам необходимы молодые девушки, чтобы внести в наше общество свежую струю.

Мне кажется, я точно передала наши слова. Сегод­ня они кажутся мне довольно ребяческими. Но тогда они были для меня невероятно значимыми, так что в последовавшие за тем дни я не могла заставить себя о них не думать.

Когда пришло время прощаться с хозяевами, моя мама подошла к Жизель и, к моему удивлению, ска­зала:

— Я узнала, что вы живете недалеко отсюда, это как раз нам по пути. Хотите, мы вас проводим?

Я уже рассказывала маме о Жизель, так что она зна­ла, какое удовольствие доставит мне это предложение. Да и сама она желала поболтать с Жизель, точно так же как хотела прежде познакомиться с Сарой.

— Ваша матушка отпускает вас одну, — сказала ма­ма, когда мы вышли на улицу. — Она доверяет вам, и я убеждена, что Ьы этого заслуживаете.

— Я так дорожу ее доверием, что никогда не осме­ливаюсь совершить что-либо непозволительное, — ска­зала Жизель с улыбкой. — Мне кажется, что гораздо меньше бы его заслуживала, если б меня держали в большей строгости.

Манера общения Жизель была столь очаровательна, невероятно естественна *и* грациозно-мила, что наверня­ка должна была понравиться моей матери. Я это чувст­вовала и была польщена. Жизель продолжала:

— Нои вы тоже, мадам, нестроги с Женевьевой. Вы ведь не везде ее сопровождаете. Она сама ходит в ли­цей (неужели она это заметила!).

— Я сопровождаю ее так часто, как только могу... — сказала моя мать, — не столько из-за недоверия, сколь­ко оттого, что мне нравится быть с ней. В тот день, ког­да она покинет меня, мне будет очень ее недоставать.

— То же самое я говорю и моей маме.

Тон Жизель вновь стал очень серьезным. Я поняла, что Жизель нежно любит свою мать, *и* внезапно упрек­нула себя в том, что недостаточно люблю свою. Какое- то время мы шли не разговаривая. Я не знала, где жи­вет моя новая подруга, и огорчилась, когда мама неожи­данно сказала:

— Мне кажется, что мы уже пришли. Мадемуазель Жизель, будьте так любезны, скажите, пожалуйста, ва­шей матушке, что мне бы очень хотелось с ней позна­комиться.

Как только Жизель ушла, я прижалась к маме.

— Что с тобой, детка? Ты сейчас меня уронишь! — сказала она, тоже обнимая меня.

— Мне кажется, я только сегодня вечером поняла, какая ты замечательная.

Чтобы скрыть свое смущение, она сделала ввд, что засмеялась. А потом как не в чем ни бывало добавила:

— После этой прокуренной мастерской уф как хо­рошо немного прогуляться.

Я еще не рассказывала о своем брате. Несмотря на то что он был всего лишь на год младше меня, в моей жизни он не занимал важного места. А поскольку здо­ровье у него было достаточно слабое, его изнежили больше, чем меня. Однако я не думаю, чтобы именно это настраивало меня против него, скорее, его манера льстить отцу, когда он хотел что-нибудь у него выпро­сить. И это ему всегда удавалось. Мой отец никогда не поднимал на него руку, тогда как мне, я прекрасно это помню, однажды дал пощечину. В тот раз он, подобно Соломону, посоветовал моему брату и мне брать при­мер с муравьев; тогда мне было всего лишь девять лет, и я осмелилась ответить ему: «Папа, ты же так часто нам повторяешь, что мы не должны быть похожими на животных».

О! Дело вовсе не в пощечине (по отношению к сво­ему сыну я нередко применяла телесные наказания), но я слишком хорошо чувствовала, что папа дал мне пощечину потому, что никак иначе не мог мне отве­тить и желая наказать меня за то, что я заметила его непоследовательность. Что же касается Густава, непо­следовательность почти его не смущала; как и отец, бе­ря с него пример, он понемногу начинал приобретать привычку изменять свои слова, вкусы, мысли в зависи­мости от того, что было ему выгоднее в тот или иной момент. Я упомянула о том, что он льстил моему отцу, делая вид, что он восхищается всем, что тот произно­сит, однако мне кажется, что он прежде всего восхи­щался той легкостью, с которой отец менял мнения, словно одежду.

Это позволяло Густаву цитировать его по любому поводу и постоянно прикрываться словами «как гово­рит папа», которыми он старался пользоваться как мож­но чаще еще и потому, что знал, что это выводило ме­ня из себя. Он очень быстро перестал занимать свою голову тем, из чего не мог извлечь никакой выгоды — я имею в виду выгоды самого практического характе­ра, причем незамед лительно. Несмотря на то что жили мы вместе, мы почти не разговаривали друг с другом; он не разделял ни одного из моих интересов. Я думала, что ему они безразличны. Я не подозревала о глухой враждебности ко мне, с каждым днем возраставшей в его душе. Она грянула как гром среди ясного неба вско­ре после описанных мною событий. К тому времени только что открылась выставка недавних работ Келле­ра. В газетах писали о ней и в особенности хвалили са­мое выдающееся его полотно: *«Ленивица»,* чья репро­дукция появилась в журнале *«Иллюстрасьон»:* обнажен­ная молодая женщина лежит на диване и смотрит на се­бя в маленькое зеркальце, которое держит в руке.

Я как-то слышала утверждение Келлера, что сюжет картины не имеет для него ни малейшего значения, единственно, что важно, — это качество живописи. Все сошлись во мнении, что качество было «превосход­ным», и я была счастлива из-за Сары. Я уже упоминала о том, что мой отец не очень одобрял нашу с ней друж­бу. Густав нашел способ польстить отцу, подло навре­див моей подруге. Он знал, что я часто с ней вижусь в свободное от лицея время и что привязываюсь к ней все больше и больше; в конце концов, я была настолько не­осторожна, что похвалила ее при нем, чем возбудила его желание унизить ее.

Сцена разыгралась сразу же после обеда. Обед про­шел в угрожающей тишине. У моего отца была привыч­ка во время еды читать газету. Обычно он прерывал чтение разглагольствованиями о политике, словно что­бы подчеркнуть то, что было в этом чтении оскорби­тельного для моей матери, или как бы извиниться за это. Каждый день он находил газету возле своей тарел­ки, однако тем утром он даже не развернул ее. Он си­дел с нахмуренными бровями, тяжелым взглядом, и чувствовалось, что молчал он не потому, что ему нече­го было сказать, а потому, что не хотел этого делать Сейчас, откладывал разговор на будущее. Гроза собира­лась, и обрушиться она должна была на меня; сомне­ваться в этом мне не приходилось, ибо Густав, наверня­ка знавший, в чем было дело, поглядывал на меня с ус­мешкой. Кофе мы обычно пили в кабинете отца. Я го­ворю «мы», потому что папин кофе был коллективной церемонией, но пил его только папа.

— Оставь нас одних, — сказал он, выходя из столо­вой, Густаву, который, как я узнала потом, спрятался в соседней комнате и стоял, прижавшись ухом к двери, чтобы не упустить ничего из сцены, им же самим ис­подтишка и подстроенной.

Отец знал, что не имеет на меня никакого влияния; предвидя мое сопротивление, он прибегнул к присутст­вию моей матери, чтобы подавить его, и обратился сна­чала именно к ней, внезапно вспылив и стукнув по сто­лу, за которым сидел, не кулаком, так как это было бы вульгарно, а всей ладонью:

— Я больше не потерплю, чтобы Женевьева ходила к дочери Келлера.

Это было сказано тоном, не допускавшим ответ­ной реплики, но мама совершенно спокойно спросила его:

— Может быть, ты ее и из лицея собираешься за­брать?

Папа не чувствовал себя в силах сражаться против нас обеих, я знала, что мама на моей стороне, и это при­давало мне невероятную храбрость, но он, словно же­лая перетянуть ее на свою сторону, добавил:

— Если потребуется, мы ее и из лицея заберем. А пока я категорически (это было одно из его любимых словечек) возражаю против того, чтобы она виделась с этой девочкой после уроков. — И он опять шлепнул ла­донью по столу, но на этот раз так неудачно, что его ко­фейная ложечка отлетела прямо ему в нос. — Это по­нятно, я надеюсь?

Ложечка, подобно какой-нибудь злой колдунье, сма­зала весь эффект от его слов. Мне трудно было сдер­живаться, чтобы не разразиться диким смехом. Впро­чем, папа знал, что я не воспринимаю его всерьез. Но этот инцидент переполнил чашу его терпения, и гнев выплеснулся наружу.

— Это неподходящий момент для шуток, — сказал он.

Я поспешила поднять ложечку, затем, выпрямляясь и стараясь на него не смотреть, чтобы не показалось, что я бросаю ему вызов, и чтобы затушевать мою дер­зость, я ответила:

— Я не собираюсь тебе подчиняться.

Наступила гнетущая тишина. Я успела заметить, что мама сильно побледнела, а руки папы дрожали.

— Женевьева, — сказал он наконец, — советую тебе быть осторожней. Ты заставишь нас прибегнуть к... — Но, не зная, к чему прибегнуть, он оговорился: — Заста­вишь нас принять строгие меры.

Затем, обернувшись к матери, к которой в особых случаях, желая сделать свои слова более вескими, на­чинал обращаться на «вы», он произнес:

— Прочтите вот это.

После этих слов он вынул из внутреннего кармана своего пиджака газетную страницу или, точнее, жур­нальную, развернул ее и протянул маме:

— Прочтите вслух, прошу вас.

— Это тебе дал Густав? — спросила мама, не притра­гиваясь к странице. И тише добавила: — Несчастный.

— Да, верно, — запальчиво воскликнул папа, — те­перь ты начнешь обвинять его!

Тогда мама, с виду по-прежнему спокойная, но та­кая бледная, что мне уже показалось, что ей вот-вот ста­нет дурно, сказала:

— Надо сказать, я уже прочла эту грязную статейку.

— Так почему же ты нам о ней ничего не расска­зала?

— Потому что не увидела смысла в том, чтобы при­нимать ее к сведению.

— Да, в конце концов, о чем же в ней идет речь? — спросила я, завладевая листочком, упавшим на пол.

Под рубрикой *«Говорят, что» я* смогла прочесть следующее:

*«Мадемуазель Сара Келлер, родная дочь знаменито­го художника, позировала для „прославленной нагой“, которой любуются все посетители Салона. Наши по­здравления художнику и его натурщице. Это один из самых пикантных фрагментов выставки, и мы благо­дарим художника за то, что он приобщил нас к ин­тимной стороне его семейной жизни. Если буржуазная мораль придет от этого в ужас, мы повторим Альфре­ду Келлеру вместе с Бодлером:*

*Пусть старый Платон сурово хмурит брови,*

*Глядя, как ты рисуешь прелести цветущей юной девы.*

*У искусства всегда были непростые отношения с це­ломудрием».*

Я пожала плечами:

— И из-за этого ты хочешь помешать мне видеться с Сарой?

Папа опять повернулся в сторону моей матери:

— Неужели допустимо, я вас спрашиваю, чтобы Же­невьева продолжала ходить к бесстыжей девице, кото­рая, не задумываясь, выставляет себя на обозрение пуб­лики?

— Если бы этот грязный журналист промолчал, ни­кто бы даже не заподозрил, что это она, — сказала я; не­осторожное высказывание поставило меня в невыгод­ное положение и позволило моему отцу нанести ответ­ный удар:

— Даже если бы никто об этом ничего не узнал, факт оставался бы фактом. Меня волнует прежде все­го не чужое мнение, тебе это прекрасно известно, а са­мо по себе событие.

Мне было известно как раз обратное: мой отец очень заботился о мнении окружающих, он почти ни о чем другом и не заботился, однако я дала ему возмож­ность взять надо мной верх. Он продолжал:

— Но позволь... значит, ты... ты все знала?

— Нет, я об этом не знала. А если бы даже и знала, то это никак не изменило бы моего отношения к Саре. И если бы я знала, то постаралась бы тебе об этом не говорить.

— Женевьева! — строго сказала мама.

Отец изобразил удивление:

— Как же это, разве ты не на ее стороне?

— Я никогда не одобряла ее дерзости.

— Тем не менее именно на тебя она опирается в сво­их выпадах, направленных против меня. Однако вопрос не в этом... Так, значит, Женевьева, ты точно решила меня не слушаться?

— Совершенно точно.

Казалось, некоторое время он пребывал в нереши­тельности, затем, словно взяв себя в руки, тоном явно­го превосходства произнес:

— Хорошо. В таком случае я знаю, что мне остается сделать.

Он вовсе этого не знал и в общем-то так ничего и не сделал.

Говоря отцу, что мои чувства к Саре не изменились бы, если бы знала, что она позировала своему отцу, я солгала. Это я поняла сразу же, как осталась одна. С тревогой на сердце я побежала в гостиную, чтобы най­ти там номер «Иллюстрасьон», в котором была опубли­кована репродукция картины Келлера. Самой картины я не видела. Мое представление о ней основывалось лишь на этой фотографии. Теперь, когда я узнала, что той обнаженной женщиной была Сара, я захотела еще раз взглянуть на нее: я недостаточно на нее насмотре­лась. Номер «Иллюстрасьон» лежал на столе, но когда я его открыла, то с изумлением обнаружила, что репро­дукция из него была изъята — старательно вырезана ножницами... Густавом, сразу же подумала я. Я влетела к нему в комнату. Наверняка он только что сел за стол, но сделал вид, что поглощен работой.

— Ты могла бы и постучаться, прежде чем войти, — сказал он, уткнувшись носом в атлас.

Я старалась сохранять спокойствие, но голос мой дрожал от негодования.

— Это ты вырезал фотографию из «Иллюстрасьон»?

— Какую фотографию? — спросил он с наигранным простодушием, с самой что ни на есть вызывающей улыбочкой.

— Не строй из себя невинного младенца. Ты пре­красно понимаешь, о чем я говорю. Кто тебе разрешил вырезать эту фотографию?

— Может быть, мне еще у тебя нужно было попро­сить разрешения?

— Густав, ты немедленно вернёшь мне эту фотогра­фию.

— Эту фотографию! Эту фотографию!.. Во-первых, она не твоя.

Выйдя из себя, я бросилась на него. Прежде чем он успел защититься, я приподняла атлас, фотография бы­ла там, я схватила ее. Но Густав вдруг вскочил, вырвал ее у меня из рук и разорвал на мелкие кусочки, заявив при этом:

— Вот чего заслуживает мадемуазель Сара, твоя драгоценная подруга...

На секунду мы застыли, глядя в глаза друг другу, го­товые броситься друг на друга и тяжело дыша. Густав был не сильнее меня. Мне кажется, что, начни мы драться, я бы победила. Но что бы случилось потом?.. Впрочем, он не дал мне времени на раздумья: словно испугавшись, он подбежал к двери и стал кричать:

— На помощь!

Я услышала, как отворилась дверь кабинета моего отца. Я успела лишь добежать до своей комнаты, закры­лась в ней и с рыданиями бросилась на кровать. У меня дико болела голова, и я старалась ни о чем не думать. Что причиняло мне наибольшие страдания, так это то, что я не могла искренне восстать против оценки моего отца, то, что я чувствовала себя, вопреки желанию, шо­кированной оттого, что Сара смогла позировать таким образом, выставить себя на обозрение, причем перед собственным отцом. Само название, которое художник дал своей картине, *«Ленивица»,* не указывало ли уже, воскрешая в памяти *«Восточных красавиц»,* на «пре­красную лень» Сары, которая приходила мне на ум при мысли о ней?

В тот момент я пребывала во мраке, я задернула шторы, закрыла глаза, но образ прекрасного загорело­го тела все еще витал вокруг меня.

Я услышала, что кто-то тихонько постучал в мою дверь, а затем прозвучал нежный голос мамы:

— Детка моя, Женевьева, заинька... Открой мне.

Она обняла меня, положила руку мне на лоб, успо­каивала, как ребенка. Она объяснила, что пришла, по­тому что боялась, что я страдаю. Она ни словом не упо­мянула о только что разыгравшейся сцене, но позаботи­лась о том, чтобы сообщить мне, что отец вместе с Гу­ставом вышли из дома. Дело происходило в четверг, занятий в лицее не было.

— Очень хорошая погода, нам бы тоже не помеша­ло выйти. Знаешь... а что, если нам сходить на выстав­ку Келлера? Мы могли бы добраться до места пешком, тебе не помешало бы пройтись.

Я обняла ее от всего сердца, умыла свои покраснев­шие глаза, оправила одежду, затем прошептала ей на ухо:

— Сара говорила, что мадам Пармантье — самая лучшая, но она так говорит, потому что не знает тебя...

Когда мы уже были готовы войти в магазин, где бы­ли выставлены картины Келлера, мама, внезапно оста­новившись, сказала:

— Прежде чем заходить, мне хотелось бы быть уве­ренной, что мы не встретим там ни Келлеров... ни тво­его отца.

Иногда ее посещали подобного рода внезапные страхи, в такие моменты казалось, что часть ее сущест­ва прекращала одобрять ее природную смелость, одна­ко она быстро одерживала верх. Словно приняв реше­ние и с некоторой игривой ребячливостью сказала:

— Ну что ж, тем хуже!.. Там видно будет. Рискнем.

К счастью, в галерее никого из знакомых не было. И опять же к счастью, некоторое количество натюрмор­тов, портретов отвлекало внимание и позволяло не за­держиваться перед «восхитительной нагой». Занимая почетное место, она сразу же привлекала внимание. Мама оглядела ее, не выражая ни малейшего стесне­ния, и это меня успокоило. Я услышала, как она про­шептала:

— Это довольно красиво.

Я привыкла к наготе музеев и восхищалась ею безо всякой задней мысли: *«Одалиска», «Источник», «Олим­пия»* или *«Завтрак на траве».* Но я не могла не думать о том, что эта молодая женщина, которую я вижу совер­шенно раздетой, была Сарой, моей Сарой, и, разумеет­ся, из-за этого картина казалась мне крайне неприлич­ной.

Мне бы хотелось быть в зале одной, взгляды других посетителей смущали меня, мне казалось, что, пока я рассматриваю большое полотно, они наблюдают за мной. И все же, несмотря на мое страдание и стесне­ние, меня, помимо моей воли, привлекала необыкно­венная красота этой «ленивицы», наполняла меня стран­ным волнением, которое никогда прежде я не испыты­вала.

Кто-то бесшумно подошел ко мне сзади, и я вдруг почувствовала, как мне на глаза легли две прохладные ладони. Я обернулась. Это была Жизель.

— Как это здорово — здесь встретиться! — восклик­нула она. Она заметила мою мать:

— Я передала маме ваши слова, она ответила, что тоже была, бы счастлива с вами познакомиться. Она как раз здесь со мной. Вот только я совершенно не умею представлять.

Затем, взяв свою мать за руку и подводя ее к нам, она неловко произнесла:

— Мама... Госпожа X., мать моей новой подруги, ах да, ты еще не знакома с Женевьевой... Так вот, это она.

Мать Жизель была привлекательной женщиной, и я сразу же почувствовала, что она понравилась моей ма­тери. Она очень хорошо говорила пофранцузски, но с выраженным акцентом, который, впрочем, был не ли­шен очарования и, казалось, лишь подчеркивал ее при­родное изящество. Мы стояли перед большим полотном.

— Необходимо признать, что у господина Келлера есть талант, — сказала мама после обмена банальными формулами вежливости.

— И он, по крайней мере, не боится выбирать кра­сивых натурщиц. В наши дни художники, похоже, опа­саются красоты.

Я с большой тревогой спрашивала себя, известно ли о скандале госпоже Пармантье. Однако ее тон меня успоко­ил. В нем невозможно было заподозрить ни иронии, ни подтекста. Маловероятно было, чтобы она могла узнать Сару. Мне показалось, что мама тоже успокоилась, пото­му что наверняка она тоже разделяла мое беспокойство.

— А также боятся создать картину, которая действи­тельно что-нибудь изображала бы, — сказала она. — Мне кажется, что современные художники, скорее, пы­таются сбить нас с толку.

Я больше не слушала наших родителей; пока они продолжали беседу, так удачно завязавшуюся, я отвела Жизель в сторону.

Что ей было известно? Дрожащим голосом *и* на­столько взволнованная, что снова обратилась к ней на «вы», я в замешательстве спросила:

— Вам было известно, что Сара...

Но она не дала мне закончить:

— Я даже лично видела, как она позирует, — сказа­ла она так, как будто это было чем-то совершенно есте­ственным.

Эта короткая фраза словно нож вонзилась в мое сердце. Так, значит, между двумя моими лучшими, мо­ими единственными подругами существовала близость, о которой я и не подозревала. Почему Сара держала ме­ня в стороне? О! Наверняка из-за того, что я смутилась бы, увидев ее обнаженной. Но ей не следовало огляды­ваться на мою стыдливость, которую я сама готова бы­ла отбросить. Я смутилась гораздо сильнее при мысли о том, что она показалась обнаженной перед Жизель. Правда, в данном случае речь шла уже не о стыдливо­сти, а о ревности.

— Ни слова маме. Она ни о чем не догадывается, — сказала Жизель.

А поскольку я призналась ей, что моя мать благода­ря злопыхательской статье обо всем уже знает, она до­бавила:

— Надеюсь, она, по крайней мере, не станет об этом распространяться!

Я поспешила ее успокоить.

Когда мы уходили с выставки, у мадам Пармантье возникла замечательная мысль пригласить нас в сосед­нюю кондитерскую выпить чаю. Казалось, что она и моя мать отлично поладили — они все время разгова­ривали, но мы с Жизель держались тихо. В момент про­щания я захотела вернуть госпоже Пармантье каталог выставки, который она мне дала, но та отказалась взять его назад:

— Нет, Женевьева, сохраните его в память об этом замечательном дне.

Я была счастлива оттого, что смогу его рассмотреть, поскольку в нем была напечатана очень хорошая репро­дукция интересовавшей меня картины, так что сразу же по возвращении домой я заперлась у себя в комнате, чтобы насладиться ей вволю. Моему воображению при­ходилось предпринймать над собой усилие, чтобы обла­чить это гибкое тело в платье, которое Сара обычно но­сила в школе, это повседневное платье, в котором я увидела ее на следующий день и без которого мне те­перь было гораздо легче ее представить. Да, мой взгляд непроизвольно раздевал ее, и я представляла ее в обра­зе «ленивицы». Незнакомое волнение разлагало меня, я и не могла определить, что это — желание, поскольку не думала, что можно испытывать его к кому-то, кроме представителей противоположного пола; время от вре­мени моя рука приближалась к руке Сары, которую я видела лежащей передо мной на парте, приближалась непроизвольно, поскольку я утратила контроль над со­бой; если Сара замечала мое приближение, рука стре­мительно отдергивалась, так что в пятницу за все утро я не сказала Саре ни слова, также не обмолвилась ни словом и с Жизель, а после занятий, с разрывающимся сердцем и терзаемая безмерной печалью, увидела, как она удалялась в сопровождении Сары, веда накануне вечером мама предупредила меня, что мне следует пре­кратить мои встречи с Сарой вне лицея.

Да, в тот четверг вечером, вскоре после того, как мы вернулись с выставки, мама зашла ко мне в комнату.

— Милая моя Женевьева, моя дорогая крошка, — нача­ла она самым нежным голосом, на который только была способна и от которого мое сердце таяло; делая меня без­защитной, — я много размышляла над тем, что сейчас со­бираюсь тебе сказать; мне очень тяжело тебя огорчать...

Она несколько секунд колебалась, но я уже знала, что за этим последует, и зашептала: «Я не могу. Я не могу». Она опять заговорила:

— Я не хочу, чтобы ты неверно поняла меня. Я дол­жна попросить тебя об этом ради твоего же блага. Твоя дружба с Сарой меня тревожит. Я боюсь, как бы она не причинила тебе впоследствии глубоких страданий и не завела бы дальше, чем ты хотела бы пойти.

Она сидела и привлекла меня к себе на колени, как делала это когда-то. Тогда, положив голову ей на пле­чо, я зарыдала:

— Ох, мама! Ты не понимаешь. Ты не можешь по­нять.

Однако она, разумеется, не обманывалась относи­тельно силы моей страсти, и именно это ее беспокоило:

— Женевьева, детка, думаю, что понимаю тебя даже слишком хорошо и, может быть, даже лучше, чем ты сама себя понимаешь. И именно поэтому мне следует тебя предостеречь. Я боюсь, как бы ты не вступила на опасный путь, с которого в дальнейшем тебе будет сой­ти гораздо сложнее, чем сейчас.

Конечно же она не осмеливалась выразить свои мыс­ли открыто, и мне пришлось самой догадаться о ходе ее мыслей. Не найдя иного довода, я произнесла абсурд­ную фразу, о которой сразу же и пожалела:

— Но, мама, если я перестану с ней встречаться, то это будет выглядеть так, как будто я подчинилась папе.

— О, Женевьева! — сказала она. — Эта неудачная мысль недостойна тебя. Я уверена, что тебе уже стыдно.

— И кроме того... Кроме того... — продолжала я, ры­дая, — как же ты хочешь, чтобы я это сделала? Ты же знаешь, что я каждый день вижусь с ней в лицее, она сидит рядом со мной... Как ты хочешь, чтобы я ей об этом сказала?..

— Я могу попросить директрису, чтобы она переса­дила тебя.

— Ах нет, мама, умоляю тебя, не делай этого, пусть хотя бы я смогу ее видеть.

— Но ведь именно это и причиняет тебе боль, бед­ная моя девочка. Ах! Я так хотела тебе помочь против твоей же воли...

Что произошло на следующее утро, я уже описала. Я абсолютно не могла сосредоточиться на занятиях. Когда я вернулась домой, чтобы пообедать, я находи­лась в состоянии такого возбуждения, что мама при ви­де меня встревожилась. Что же касается отца, то он на­шел способ наказать меня: сделал вид, будто не замеча­ет меня, но ведь об этом я могла только мечтать. После обеда я удалилась к себе в комнату, и мама пришла ме­ня навестить.

— Женевьева, детка, да ты не больна ли? Ты вся дро­жишь, и съесть ничего не смогла...

Больным, несомненно, было мое сердце. Тем не ме­нее я успокоила маму, но стала упрашивать ее не отправ­лять меня обратно в лицей. Продолжать видеть Сару и обдавать ее холодом, тогда как все мое существо стре­милось к ней, было поистине выше моих сил. Должно быть, опасность показалась маме довольно серьезной, поскольку она согласилась оставить меня дома. Мой отец легко одержал победу. Он никогда не одобрял того, что я хожу в лицей. Если его послушать, то женщинам было необходимо не столько образование, сколько хоро­шие манеры, и он добавил, что этого мнения заодно с Мольером придерживаются и все здравомыслящие лю­ди. К счастью, ни я, ни мама этого мнения не разделяли. У меня была большая тяга к знаниям. Все, чему меня обу­чали в лицее, вызывало у меня огромный интерес, и раз­ве не мое образование, как я смутно надеялась, сможет в дальнейшем дать мне независимость? Экзамен на бака­лавра мне предстояло сдавать лишь в следующем году, я собиралась пройти его и не прекращать обучения. Было решено, что я оставлю лицей якобы по причинам ухуд­шения здоровья. Неужели мне необходимо будет пере­стать видеться и с Жизель? Госпожа Пармантье очень по­нравилась моей матери, впрочем, как и Жизель. Мама сочла, что мы должны объяснить им причины моего ухода. Больше всего нас смущало то, что Жизель была подругой Сары. Несколько дней я жила в невероятном смятении. Я согласилась подчиниться решениям моей матери. Я чувствовала, что она находится в постоянной оппозиции к отцу, и мое сопротивление отцовскому ав­торитету подкреплялось моей дочерней преданностью ей. Но ведь и у дружбы тоже были свои обязанности, да­же если не учитывать торжественной клятвы, данной при создании ЖН. Меня беспокоило, чтб подумают обо мне Жизель и Сара. Сохраню ли я уважение к самой се­бе, если позволю им думать, что внезапно вычеркнула их из своего сердца? Я умоляла маму, чтобы она разре­шила мне поговорить с Жизель. Она сама собиралась по­видать госпожу Пармантье, чтобы та устроила мне тай­ную беседу со своей дочерью. Что могла мама сказать госпоже Пармантье, я не знаю, только когда она верну­лась, вид у нее был радостный и немного лукавый, отче­го на обеих ее щеках появились ямочки.

—Ты знаешь, что предложила мне госпожа Пар­мантье? — тут же спросила она у меня. — Давать тебе ежедневные уроки английского. Ты будешь ходить к ней в часы занятий в лицее, так как, подобно мне, она думает, что лучше было бы, чтобы Жизель и ты, из-за Сары, не встречались слишком часто.

— Так, значит, ты рассказала ей о Саре? Ты сказала ей?..

— Милая моя Женевьева, мне не пришлось ни о чем ей рассказывать. Жизель сама все рассказала матери на следующий же после выставки день.

— А меня она попросила ничего ей об этом не гово­рить.

— Так ты видишь, что доверие ее к матери оказа­лось сильнее, — сказала мама. Затем слегка наивно она добавила: — Да, это правда, что госпожа Пармантье оз­накомилась с той гадкой статьей.

— Тем не менее госпожа Пармантье не запретила Жизель встречаться с Сарой.

— Да, это так. Это доказывает, что не по всем воп­росам мы мыслим одинаково. И потом, она знает, что Жизель рассудительнее тебя.

— Или любит Сару меньше меня.

— Не так страстно, как ты, да, это верно.

Если я так подробно остановилась на этой первой моей юношеской страсти, то потому, что тогда про­изошло смутное пробуждение моих чувств. Сразу же после этого я заболела скарлатиной, за которой, как сказал бы Фрейд, укрылись от моего душевного смяте­ния одновременно и моя мама, и я. Позднее мама ска­зала мне, что в горячке (поскольку болела я очень тя­жело) образ Сары преследовал меня постоянно. Но ког­да я начала выздоравливать, мои мысли потекли совсем в другом русле.

ЧАСТЬ II

Госпожа Пармантье была гораздо образованнее моей матери, начавшей методично и старательно чи­тать достаточно поздно. Ее уроки очень отличались от тех, к которым я привыкла в лицее, и состояли в основ­ном из чтения и бесед. В просторной библиотеке, где она меня принимала, книги английских авторов стояли по соседству с французскими и итальянскими, ибо она одинаково хорошо владела тремя этими языками. Пона­чалу мама меня сопровождала, но с третьего занятия оставила нас, госпожа Пармантье убедила ее, что нае­дине со мной будет чувствовать себя свободнее. Чаще всего она просила меня почитать и исправляла мое пло­хое произношение. Мне больше нравилось слушать, как читает она сама, правда, довольно часто я еще не очень хорошо понимала ее, но она с бесконечным терпением повторяла то, что мне не удавалось разобрать с перво­го раза. Звук ее голоса восхищал меня почти так же, как голос Сары. Она отдавала предпочтение поэтам и считала, что именно они больше всего подходят для то­го, чтобы помочь мне научиться надлежащим образом произносить фразы. Я не стала долго скрывать от нее, что не очень интересуюсь грезами и поэзией. Тогда мы поспорили.

— Ив самом деле, человека цветами не накор­мишь, — сказала она, — но они составляют радость жиз­ни. Если вы разобьете самый что ни на есть замечатель­ный огород на месте благоухавших клумб, вам конечно же удастся накормить меня, но вместе с тем вы отни­мите у меня вкус к жизни.

Я возразила, что точно так же, как тело цветами, мой мозг не может питаться сравнениями.

— О! Если теперь вам больше и изобразительное ис­кусство неинтересно!.. — произнесла она, жалобно улы­баясь.

Таким образом, она находила удовольствие в вооб­ражаемом мире и утверждала, что порой наступали та­кие моменты, когда она начинала верить в его реаль­ность. Точно так же она верила и в вечную жизнь, и в вознаграждение, ожидавшее ее в ней, что помогало ей смиряться с выпадавшими на ее долю несчастьями и не­совершенствами на этой бренной земле.

Уже в то время меня больше привлекала реальность, чем вымысел, и романы интересовали меня не столько красотой слога, сколько теми сведениями, которые они могли дать о жизни. Именно этим объясняется то, что при написании этого рассказа я учитываю лишь то, что могло бы, возможно пусть даже незначительно, про­лить свет или наставить. Я не являюсь любительницей развлечений настолько, чтобы самой стараться развле­кать. Я бы, скорее, хотела *предупредить.* Мне кажется, господин Жид, что, как и я, Вы тоже пользовались этим словом. Позвольте мне его у Вас позаимствовать. Да, я буду считать себя вполне удовлетворенной, если какая- нибудь молодая женщина увидит в том, что я здесь опи­сываю, *предупреждение* и если эта книга предостережет ее против некоторых иллюзий, которые мне пришлось пережить и которые могли искалечить всю мою жизнь.

«Далекий от умственных изысканий и чуждый любой метафизике». Эти слова, относившиеся к Вобану, я про­чла вчера в исследовании Марты де Фельс. Они изобра­жают меня исключительно точно. Я с восхищением чи­таю в том же самом исследовании другую фразу, в кото­рой узнаю саму себя: «Не при том же ли условии реализ­ма его конкретного разума, в котором хмель мечты не имел право на пристанище, коль скоро речь шла о твор­честве...» Поскольку, будучи в то время еще молодой, я не допускала мысли о том, что могла и должна была быть полезной. Поэзия, литература в целом казались мне цве­тами праздной жизни, а праздность внушала мне ужас.

Вот и подошла очередь подробнее описать некото­рые черты моего характера, которые не принимали яр­ко выраженных свойств и которые я осознала несколь­ко позже. Мое противостояние с госпожой Пармантье, вопреки огромному уважению, которое я вместе с тем к ней испытывала, очень помогло мне. Мы симпатизи­ровали друг другу, но именно в споре мы учились узна­вать друг друга. В целом же это противостояние не име­ло ничего общего с тем, что двигало мною в отношении отца и усугублялось презрением. К госпоже Пармантье я испытывала исключительно лишь уважение. Невзирая на это противостояние, мы чудесным образом находи­ли общий язык, и она отнюдь не была бесчувственной к тому усердию, которое я выказывала в работе. Тем не менее, помимо ее уроков, мне необходимы были и дру­гие, так что для истории и географии мама прибегла к услугам одного профессора. Доктор Маршан, хотя и был перегружен работой, согласился каждый день за­ниматься со мной по часу естественными науками. Уро­ки проводились по вечерам у него дома и часто прохо­дили в болтовне, из которой я извлекала больше поль­зы, чем из самих уроков.

Доктор Маршан обладал всеми теми качествами, ко­их недоставало моему отцу: во-первых, реальная значи­мость, основательные знания и непревзойденное пре­зрение ко всякого рода двуличию и фальши. За его уг­рюмым видом скрывалась очень нежная натура. Восхи­щение, испытываемое мною по отношению к нему, не мешало мне вступать в споры и с ним, однако по совер­шенно иным причинам. Поскольку наши с ним беседы не закончились вместе *с* экзаменами, но замечатель­ным образом продолжались и после них, возможно, что то, что я собираюсь рассказать о них, относится, скорее, к 1914 году или даже к чуть более позднему периоду и что лишь моему немного созревшему сознанию стали понятны некоторые черты его характера, с которыми я не могла согласиться. Его самоотверженность, абсолют­ное бескорыстие, это пламенное милосердие, с которым он относился к страдающим, — все это основывалось на отчаянном нигилизме. Что же до меня, учитывая то, что религиозные чувства никогда не были во мне достаточ­но выраженными (а того, что мой отец притворялся, будто их испытывает, достаточно было, чтобы вообще отвратить меня от них), я очень быстро перестала верить во что бы то ни было потустороннее. Однако тогда как доктор Маршан принимал глубину человеческих несча­стий, «которые мы все же можем несколько облег­чить», — говорил он, — я не могла допустить, чтобы этим ограничивалась наша надежда. Когда я говорила о воз­можном улучшении социального положения, он назы­вал меня фантазеркой, *и это* выводило меня из равнове­сия; тогда я начинала говорить об этом как ребенок, и то, что я говорила, разумеется, вызывало у него улыбку. Я осознавала это, но по-прежнему настаивала на своих «фантазиях». Я не сдавалась. Эта живущая во мне на­дежда руководила моей жизнью. Тогда она была еще до­статочно расплывчатой, и я бы, вероятно, поступила бла­горазумнее, если бы отложила рассуждения на эту тему; я говорила об этом из-за недостатка выдержки.

Я перечитываю то, что только что написала об этом, и ощущаю, что не вполне удовлетворена. Как только че­ловек отходит от церкви, сколь ненадежной, сомни­тельной и рискованной кажется ему исповедание лю­бой веры! Я только что прочла в одном американском журнале ответы на вопрос: *What do you believe?[[1]](#footnote-1)* Этот вопрос был адресован самым известным писателям, ученым, государственным деятелям, финансистам, про­мышленникам и т. д. всей страны. Одни, казалось, отве­тили с уверенностью, это были те, кто относит себя к ортодоксальной Католической церкви. Другие дали правильный ответ, сказав, что верят в то, что они дела­ют, в свою жизнь. Можно быть неуверенным, когда речь идет о рассуждениях, и решительным, когда при­ходит пора действовать. Мне остается лишь рассуждать теоретически, и я считаю, что очень хорошо знаю, чего хочу, хотя пока очень плохо могу выразить это слова­ми. Правда, если бы я могла выразить это в нескольких фразах, я не пустилась бы в это долгое повествование.

Госпожа Маршан была подругой детства моей мате­ри. Скромная до такой степени, что ее почти не было заметно, почти ничего не значащая, по крайней мере такой она казалась мне в тот период моей жизни, по­скольку в то время я не питала пристрастия к разгады­ванию того, что прячется за внешностью окружающих, и презирала скромность; если мой отец воплощал для меня тип мужчины, за которого я ни за что на свете не хотела бы выйти замуж, то госпожа Маршан воплоща­ла тип женщины, которой я ни в коем случае не хотела бы быть. В моих глазах ничто не оправдывало той люб­ви, которую проявлял по отношению к ней доктор Мар­шан; она казалась мне ничтожной. Она жила в тени и почитании своего мужа. Их семья была, безо всякого сомнения, из числа самых дружных, несмотря на ци­ничные высказывания доктора, который считал брак «смехотворным институтом». Он не опасался произно­сить эти слова в моем присутствии, несмотря на мою молодость в ту пору и невзирая на гневные взгляды мо­его отца, который испытывал огромное уважение к «этому священному институту».

С раннего возраста получая образование благодаря моей матери, полагавшей, что незнание никогда не мо­жет принести ни малейшей выгоды, я знала, что дети не являются самопроизвольными плодами таинства брака; я также поняла, что плотские отношения, кото­рые делают возможным процесс деторождения, часто осуществляются с одобрения церкви и закона. Однако раз люди поженились, почему же некоторые пары ос­таются бездетными? Этот вопрос очень волновал меня, в частности когда я думала о семье наших друзей Мар- шанов.

— Этот вопрос в высшей степени нескромен, — ска­зала моя мать, когда я задала ей его. — Тебе хорошо из­вестно, что я практически никогда не отказываюсь от­вечать тебе... Но, во-первых, существует много семей, предпочитающих не заводить детей.

— Почему?

— Но, дорогая моя, по множеству более или менее веских причин морального или же материального ха­рактера.

— А как делают, чтобы их не заводить?

— Сейчас тебе этого и в самом деле не нужно знать, — ответила моя мать, слегка покраснев, скорее всего, не из-за моего вопроса, а из-за того, что отказа­лась на него ответить.

Тем не менее я задала этот вопрос невиннейшим об­разом, даже не подозревая о том, что в нем содержа­лось что-то неприличное. Имея о сексуальном желании и о сладострастии лишь смутное представление, я гораз­до больше интересовалась проблемой потомства, неже­ли проблемой семейных отношений.

— Ты считаешь, что Маршаны предпочитают не иметь детей? — спросила я.

— Нет, я так не думаю, — сказала мама и довольно быстро добавила: — Но люди не всегда имеют то, чего желают.

— Так, значит, ты считаешь, что они хотели бы иметь детей, но не могут?

— Детка, ты видишь, как опасно начинать отве­чать, — сказала мама, взявшись за ручку двери и отсту­пая. — Ты всегда стремишься узнать об этом все боль­ше и больше.

Дело было в том, что эти несколько маминых фраз не удовлетворили меня. А так как вопрос по-прежнему занимал меня, я решила, с циничной и простодушной отвагой, свойственной моему юному возрасту, обра­титься напрямую к доктору, однако для этого мне необ­ходимо было остаться с ним наедине, а госпожа Мар­шан почти всегда присутствовала на занятиях. Таким образом, этот разговор отложился до тех пор, пока я не вернулась с каникул.

На каникулах, проведенных мной в Бретании, вме­сте с кузиной X., я почти все время посвятила чтению.

Вопросы сексуального характера, на которых я подробно останавливаюсь в моем рассказе, что кого- то может удивить или шокировать, особенно привлека­ли мое внимание и тогда, при чтении книг. Причем к моему любопытству не примешивалось ни капли чув­ственности. Чтобы привить мне вкус к Бодлеру, потре­бовалось все очарование голоса Сары. Что-то схожее с инстинктивным страхом держало меня в стороне от непристойных картинок, от всего того, что дышало желанием и удовольствием. Я не была сентименталь­ной... нет, мой ум занимало нечто иное, как все то, что высокопарно называлось преимуществами женщин. Я уже говорила, что практически не интересовалась ро­манами. Сердечные страдания, казалось мне, не заслу­живали труда, затрачиваемого на их изображение. Однако для того чтобы книга снискала мое располо­жение, иногда достаточно было одной фразы, как, на­пример, такое высказывание, найденное мною в аб­сурдной книге *«Джейн Эйр»* и тотчас же переписанное мною в тетрадку, которую я хранила для этих целей и на которой в качестве названия я написала: «*Ж. Н., в память о Лиге за женскую независимость и о моих пер­вых подругах*».

«Напрасно было бы говорить, что человеческие со­здания должны находить удовлетворение в отдыхе; что им необходимо, так это действие, и они создадут его, ес­ли жизнь не будет поставлять им его. Существуют мил­лионы людей, обреченных вести жизнь гораздо более спокойную, чем моя, и миллионы их пребывают в состо­янии молчаливого бунта против своей участи. Никто не знает, сколько мятежей (не имеющих никакого отноше­ния к мятежам политическим) бродит в живой массе, населяющей землю. Женщины в целом их считают спо­койными, но они чувствуют точно так же, как и мужчи­ны; им необходимо реализовывать свои способности, и, подобно их братьям, им необходимо поле для реализа­ции их усилий. В той же мере, что и мужчины, они стра­дают от слишком строгих ограничений, от всепоглоща­ющей косности. Исключительно от узости мышления их находящиеся в более привилегированном положении спутники полагают, что женщины должны ограничить­ся хлопотами на кухне и шитьем, развлекательными ви­дами искусства и вышивкой. Нет ни малейшей причины осуждать их или же насмехаться, если они жаждут более активной деятельности или же больших знаний, чем, по обыкновению, отводилось их полу»[[2]](#footnote-2).

Из всех книг, что я читала в тот период, ни одна не занимала моего внимания больше, чем *Кларисса Хар­лоу.* Несмотря на то что я не испытывала большого вле­чения к вымыслу, я прочла, не пропустив ни единой строчки, все пять томов этого романа, известного в ту пору, но который, по-моему, теперь не находит большо­го числа читателей. Он, несомненно, оказал на меня значительное влияние (правда, я полагаю, не совсем то, которого мог желать Ричардсон), вот почему я должна о нем рассказать. Сначала я заметила, что все несчастья Клариссы проистекают из-за ее благоговения перед ро­дителями, ее покорности им, уважения к ее невыноси­мому отцу. Потребовалась вся сила искусства Ричард­сона, думала я, чтобы это чрезмерное унижение не сде­лало ее смешной в наших глазах. Одарив ее всевозмож­ными добродетелями, поставив ее бесконечно выше своего отца, романист сделал тем более мятежным под­чинение этого ангела чудовищному авторитаризму ог­раниченного существа.

Однако еще больше возмущало меня преувеличенное значение, придаваемое в этой книге целомудрию. И это при том, что Кларисса никогда не показывала более тор­жествующей добродетели, чем после того, как ее подло лишили девственности, это приравнивание чести к чис­тоте казалось мне, в сущности, недопустимым. В ту по­ру я не могла знать, насколько часто при отречении че­ловека от плотской своей сущности разрушается и сама его душа. В остальном в моих возмущениях того време­ни было много решимости и упорства, и мои самые ис­кренние реакции вскоре должны были показать мне, на­сколько я отличалась от того, чем себя считала. Как бы там ни было, я утверждала, что женщина может быть добродетельна иным образом, нежели просто проявлять свою сдержанность, и что в большей или меньшей степе­ни честность располагается где-то в ином месте, нежели в плоскости плотских отношений. Во всем этом еще очень отдавало беседами с моими двумя подружками, в которых мы доводили до вызова наше презрение к условностям и мнению большинства. Наши высказыва­ния были тем более горячими, что они не влекли за со­бой ни малейшего участия наших чувств. Все трое мы до­пускали, что связь между мужчиной и женщиной может осуществляться и без законного на то позволения, все трое мы охотно заявляли, что полны решимости стать матерями вне брака, однако если я, по крайней мере, го­ворила о любви легко и свободно, то это потому, что я думала лишь о ее последствиях; мне было неведомо сла­дострастие, и я даже не имела представления о наслаж­дении, таким образом, полагала, что всегда смогу сво­бодно располагать самой собой. Разумеется, мое волне­ние из-за Сары могло бы меня предупредить; однако ес­ли оно и ошеломило все мое существо, то слишком размыто, чтобы я могла тогда безошибочно распознать желание. Если какое-либо преждевременное ознаком­ление не поспособствует его локализации, желание мо­жет оставаться рассеянным и поначалу проявляться лишь в необычном смятении. А вообще все, что я гово­рю об этом, может быть, было справедливо только в от­ношении меня. Я думаю, что Сара была гораздо менее невинна,, и, несомненно, к притягательности ее красоты добавлялась притягательность ее тайной чувственности;' думаю, что именно это и волновало меня.

Я знала доктора Маршана с самого раннего детства и долгое время не могла понять, почему мама, выходя замуж, отдала предпочтение моему отцу, а не ему. Од­нако из разговора с мамой и позднее, из ее дневника, я узнала, что доктора ей представил мой отец и что тот ей сначала очень не понравился. Разумеется, с первого взгляда он может показаться очень холодным, но потом потребуется много усилий, чтобы суметь устоять перед его душевными качествами. Как только он позволяет себе расслабиться, в его взгляде появляется нежность. Я слышала, как мой отец называл его материалистом, а мать — пессимистом гораздо раньше, чем узнала значе­ние этих слов. Позднее, когда я начала вести с ним ди­скуссии, я восставала лишь против его пессимизма.

— Но детка моя (он называл меня «детка», точно так же, как и мама), я же не ругаю тебя за твои идеи, — говорил он мне, когда я заявляла, что стоило бы попы­таться помешать возникновению нищеты, чем лишь пы­таться ее чуть-чуть облегчить. — В тебе сейчас говорит твой возраст. В твоем возрасте мечтают о социальных реформах, о более справедливом распределении ценно­стей. Однако самые лучшие системы не сделают людей лучше. — И он находил удовольствие в том, что цитиро­вал высказывание Шамфора: «Тот, кто в сорок лет не является мизантропом, никогда не любил людей», до­бавляя при этом, что уже давно перешагнул сорокалет­ний рубеж.

В тот момент мы по великой случайности были од­ни; он добавил:

— А сколькими людьми мы интересуемся только по­тому, что видим их страдания или нищету, людьми, ко­торые, выздоровев и разбогатев, тут же покажутся нам отталкивающими. Ну вот! Она заплакала...

В те времена я еще могла плакать из-за пустяка воп­реки моей воле, какой бы сильной она подчас ни была, и из-за этого я еще больше сердилась на саму себя. На этот раз я опять не сумела сдержать слез, но я плакала от негодования и от досады на то, что не могла найти что ответить, или, по крайней мере, из-за неумения вы­разить мысли, которые распирали меня и, как мне ка­залось, рождались не в моей голове, а в моем сердце. Я была уже не настолько юной, чтобы не догадываться о том, что в огромном количестве несчастий, являющих­ся источником людских страданий, виноваты не столь­ко реальные причины, которые сами по себе не таят ни­чего особенно болезненного, сколько суждения о них. Недавно вместе с госпожой Пармантье я прочла *Адама Беда* и размышляла, в частности, о невзгодах Этги Со­рель. Я никак не могла относиться к ней как к винов­ной за то, что она позволила себя соблазнить, затем от отчаяния, в подавленном состоянии, оставила своего ре­бенка, заранее предчувствуя нависший над ней груз осуждения. Что казалось мне и в самом деле достой­ным осуждения, так это ее любовник, затем общество, к ней одной отнесшееся неодобрительно, хотя подобно­го отношения прежде всего заслуживал ее соблазни­тель. Я хотела было процитировать ее в качестве при­мера, но сомневалась, что доктор Маршан читал эту книгу, так что я возобновила и продолжила этот спор с госпожой Пармантье.

— Вы бы осудили Этти Сорель?

— Я не чувствую себя вправе осуждать кого бы то ни было.

— Это не ответ. Мы ведем разговор о конкретном случае, а вы отгораживаетесь общими фразами.

— Думаю, что я пожалела бы ее, как пожалел ее Ди­на Моррис, при том что признавал ее виновной.

— Виновной в чем?

— Что за вопрос? Виновной, во-первых, в том, что позволила соблазнить себя, а во-вторых, что оставила своего ребенка.

— Она оставила его против собственной воли и по­тому, что не могла поступить иначе. Общественное мнение заставляет ее совершить это преступление. Она знает, что в обществе нет больше места ни для нее, ни для ее ребенка. Вот что кажется мне чудовищным.

— Мне жаль ее, потому что она раскаивается.

— И она раскаивается потому, что Дина Моррис за­ставляет ее поверить, что Бог простит ее, если она рас­кается. Однако настоящий преступник не Этти, а обще- сгво, и когда она думает, что общество осуждает ее именем Бога!..

— Послушайте, Женевьева, вы не можете оправды­вать ее.

— Я жалею ее от всего сердца, а осуждаю я обще­ство... Госпожа Пармантье, я хотела бы знать... Вы счи­таете, что это очень плохо — иметь ребенка, не будучи замужем?

— Очень плохо производить на свет ребенка, обре­ченного на несчастье.

— Почему обязательно на несчастье?

— А как ребенку без отца не быть несчастным?

— О! Госпожа Пармантье, мне не стоит этого гово­рить, но вы бы не рассуждали так, если бы хорошо зна­ли моего отца. И к тому же неужели отцу обязательно быть мужем, чтобы любить своего ребенка?

Госпожа Пармантье, не отвечая мне, заговорила вновь:

— Бедный ребенок, которого, возможно, нигде не захотят принять, который повсюду будет натыкаться на недоброжелательный прием и оскорбления.

— Вот именно это и приводит меня в негодование. Не кажется ли вам ужасающим, что...

Однако она продолжала, не слыша меня:

— Чувствовать, что его мать презирают, и, что еще хуже, самому быть вынужденным презирать ее.

— О! Госпожа Пармантье, как вы можете говорить такое? Так, по-вашему, получается, чтобы иметь право родить и воспитывать ребенка, женщина должна согла­ситься связать всю свою судьбу *с* человеком, которого, может быть, не сможет продолжать любить всю жизнь?

— Ей нужно хорошо выбирать.

— Если бы она сама выбирала! Но ведь чаще всего ее выбирают.

— Если тот, кто предлагает ей вступить с ним в брак, ей не по душе, она вольна отказать ему.

— Поначалу у нее могут оставаться иллюзии, я ду­маю, что именно так и произошло с моей матерью.

— Женевьева, вы не должны судить своих родите­лей. Я едва знакома с вашим отцом, но он показался мне очаровательным.

— Когда моя мама выходила за него замуж, он и ей казался очаровательным.

— Я считаю вашу мать безупречной супругой.

— Это означает, что она всегда жертвовала собой. Одобряете ли вы ситуацию, когда какой-нибудь поисти­не достойный человек, как, например, моя мать, посто­янно жертвует собой ради того, кто этого недостоин?

— Проживание единой семьей никогда не обходит­ся без взаимных жертв, возвышающих и облагоражива­ющих того, кто на них идет.

— Госпожа Пармантье, почему говорят «изменить мужу» только в том случае, если женщина неверна? Из­мена может быть и без факта неверности. Не изменя­ют ли женщины в большей степени своим мужьям, как, впрочем, и себе, оставаясь верными, но не любя?

— Разумеется, нет. Это что еще за вопрос? Можно не любить друг друга так, как в первые дни, но невер­ность начинается тогда, когда возникает любовь к дру­гому мужчине. Что касается меня, то я никогда не при­писывала себе в заслугу свою верность, поскольку ни­когда не переставала любить своего мужа. Однако, да­же когда любишь чуть меньше, брак основывается на клятве оставаться верными друг другу.

— Я также предпочитаю вовсе не давать клятв.

Я наверняка очень упростила рассказ об этой до­вольно продолжительной беседе. Она состоялась вес­ной 1914 года. Помню об огромном букете сирени на большом столе в библиотеке, за которым мы сидели; от него исходил такой сильный запах, что госпожа Пар­мантье попросила меня открыть окно, хотя воздух сна­ружи был еще холодным. Возможно, мне следовало бы описать место действия, а также госпожу Пармантье и саму себя, но я ведь не роман пишу, а описания почти не привлекают меня и в чужих книгах.

В ноябре я сдала вторую часть экзамена на степень бакалавра, так как в июле я его глупейшим образом про­валила. Радость отца, когда он узнал о моем провале, была словно удар хлыстом по моему самолюбию, и я удвоила усердие. Жизель, готовившаяся к тому же экза­мену, сдала его с первой попытки. Время от времени я с ней виделась, однако госпожа Пармантье не поощряла наших встреч. Свобода моих высказываний саму ее мог­ла забавлять, но од новременно с этим и вызывать страх за свою дочь. Тем не менее Жизель почти не поддава­лась влиянию, ни моему, ни своей матери, и это при том, что она обожала ее, но при необходимости она умела оказать ей сопротивление, никогда не поднимая голоса, с упорством и обезоруживающей нежностью, в резуль­тате чего уступала всегда госпожа Пармантье.

У нас с Жизель было много общих мыслей, причем из разряда самых смелых, что придавало мне больше уверенности, так как я очень доверяла ее благоразу­мию, ставя его гораздо выше своего, полагая, что она не способна на те преувеличения, к которым меня час­то подталкивал мой характер. Все, за что бы ни бралась Жизель, она делала исключительно обдуманно, ее ин­теллект безоговорочно доминировал и смирял порывы ее сердца. Я никогда не вцдела, чтобы она что-то дела­ла из пустого тщеславия, и в особенности потому, что ее красота и ее ум обеспечили ей абсолютный успех в свете, она отказывалась вступать в него и заявляла, что хочет продолжить свою учебу дальше. Филология при­влекала ее, «не в память ли это о моем отце, на которо­го, как мне кажется, я очень похожа», — говорила мне она. Я также решила продолжить свое образование, как и Жизель, не допуская мысли о том, что могу остаться не у дел. И все больше и больше мы намеревались обес­печить себе независимость, чтобы нам не пришлось рассчитывать ни на родителей, ни на мужа, «ни на лю­бовника», — добавляли мы. Так как бесчестие, по наше­му мнению, состояло не в том, чтобы иметь любовника, а чтобы позволить «себя содержать».

— В настоящее время д ля женщин открываются воз­можности сделать карьеру в некоторых областях, в ко­торых я могла бы надеяться преуспеть, — говорила Жи­зель. — Правда, это профессии, в которых самое луч­шее, что женщина может сделать, это забыть, что она не мужчина. Что я хотела бы, так это... В конце концов, я хочу иметь такое положение, которое может зани­мать только женщина. Я убеждена, что женщины спо­собны на гораздо большее и совсем на иное, нежели обычно принято считать и предполагают они сами. Д® сих пор им никогда не давали возможности заявить о своей ценности. Понимаешь ли, я хотела бы изобрести для себя карьеру, которая позволила бы мне помочь другим женщинам научиться узнавать себя, осознавать собственную значимость.

— Но как? Каким способом?

— Пока не знаю. По крайней мере, ты хоть надо мной не смеешься. То, что я говорю, не кажется тебе слишком абсурдным?

— Совсем даже не абсурдным. Но мне кажется, что большинство женщин абсолютно удовлетворены той за­висимостью, в которой их держит льстивая галантность мужчин. Сначала необходимо добиться того, чтобы они сами захотели измениться.

— Тебе не кажется, что в самих знаках внимания, которые мужчины оказывают «прекрасному полу», есть что-то унизительное?

— Да, унизительное для мужчин.

— И что женщина может надеяться на нечто боль­шее, чем пробуждать в них желание, давать обожать се­бя, подчиняться мужчине или мужчинам?

— Не считая того, что это обожание, должно быть, ужасно утомительно. Если бы я не думала так же, как и ты, я бы не старалась развиваться.

— Послушай, Жизель, я действительно считаю, что существует множество способных женщин, что женщи­ны гораздо более значимы, чем в их среде принято счи­тать, и что вся их ценность остается не у дел, посколь­ку о ней никто не знает, они сами о ней не знают, пото­му что до сих пор их никогда не призывали к тому, что­бы проявлять себя, самовыражаться.

— Да, но мне также кажется, что можно усмотреть большую значимость и добродетель в подчинении.

— Именно против этого подчинения я и протестую. В подчинении эта значимость остается скрытой. Жен­ские достоинства могут отличаться от мужских, при этом оставаясь равноценными. Почему одни вынужде­ны подчиняться другим?

— Если бы женщины и вовсе не были бы красивы, не ощущали бы себя желанными, они бы занялись чем- то другим, а не просто бы стали жаловаться.

— Как же я люблю тебя, Жизель, за то, что ты не держишься за свою красоту!

— Не знаю, красива ли я; я хочу, чтобы меня зани­мали достоинства и недостатки лишь моего ума. И все же я признаю, что очень страдала бы, если бы была бе­зобразной, и гораздо меньше души вкладывала бы в ра­боту, если бы она была для меня всего лишь компенса­цией.

— Я бы хотела, чтобы женщины были не только бо­лее образованны, но и более инициативны, смелы, ре­шительны.

— Законы довольно сильно ограничивают нас в этом.

— Кстати... я бы хотела воспользоваться своим пра­вом. Какое красивое выражение, ты не находишь? «Воспользоваться своим правом»! Если только в это по­нятие входит нечто большее, чем посещать занятия! Права женщины. Я бы хотела досконально изучить их, причем существующие не только во Франции, чтобы су­меть в дальнейшем дать большому числу женщин воз­можность осознать свои возможности.

— И их обязанности, я полагаю.

— Разумеется, у кого больше прав, больше и обязан­ностей, я так понимаю. Как было бы все-таки здорово получить новые обязанности! И пробудить в других жен­щинах желание получить их. Я думаю, что мы обладаем многими способностями и потребностями, о которых да­же не подозреваем, которые дремлют в ожидании, ког­да их обнаружат, и для пробуждения которых часто тре­буется вызов. Я бы хотела сказать каждой женщине, что в течение уже некоторого времени я каждое утро гово­рю себе: ЭТО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ.

— Это относительно чего?

— О! Не имеет значения. Я думаю о том фрагменте из Евангелия, в котором Иисус Христос говорит парали­зованной женщине: «Встань, возьми свою кровать и иди». И женщина тут же встала и пошла.

— К сожалению, Женевьева, ты не Иисус Христос, чтобы творить чудеса. Ты не сможешь поднять на ноги немощных.

— Я не могу и не хочу верить в чудеса. Если женщи­на встала, то потому, что она могла встать. Она могла, но не знала об этом. Потребовался этот приказ, и его оказалось достаточно, чтобы позволить ей осознать свои возможности. До какого предела простирается власть женщины — вот что я хотела бы сначала научить­ся определять, чтобы уметь разумно ею пользоваться и применить только к тому, что я наверняка смогу приоб­рести благодаря ей. И, естественно, я прежде всего на себе хотела испробовать ее силу и эффективность.

Тогда Жизель привлекла меня к себе и поцеловала в лоб со словами:

— Я могу лишь повторить тебе слова Иисуса, которые ты процитировала: «Встань и иди. Это зависит только от тебя».

Лишь через несколько месяцев у меня состоялся с доктором Маршалом важный разговор, который я дол­гое время обещала себе повести с ним. Регулярные уро­ки и беседы продолжились и после экзаменов. Госпожа Маршан всегда присутствовала на них, но в тот раз ее вызвали к престарелой родственнице в Байонн, и док­тор Маршан ожидал начала своего короткого отпуска, чтобы к ней присоединиться. Дело происходило в июле.

Я боюсь, как бы мои слова, которые я собираюсь пе­ресказать, не были восприняты как слишком смелые для семнадцатилетней девушки, но я повторяю, что все, что я могла в то время думать и говорить, не выходило за рамки теории. Лишь моя мысль шла вперед, причем тем более отважно, что никоим образом не заботилась о расхождении с моим сознанием. Цинизм, который я на себя напускала, был мне абсолютно несвойствен, я выдавливала его из себя и должна была разговаривать так, как я говорила, делая над собой усилие. Тогда я по­здравляла себя с победой, которую одерживала над со­бой, над своей робостью, своей стыдливостью. Все это сегодня кажется мне комедией, в которой я являлась и режиссером, и художественным советом, и аплодирую­щим зрителем. Итак, иногда по вечерам я оставалась наедине с доктором Маршалом в его кабинете, где он обычно принимал меня и куда я пришла, чтобы встре­титься с ним в половине девятого с твердым намерени­ем поговорить, ожидая благоприятного момента. Время шло. Я поступила так же, как и Жюльен Сорель: отвела себе время до пяти минут десятого, повторяя про себя: «Если я позволю минутной стрелке перейти эту то.чку, не затронув волнующей меня темы, то буду знать, что я труслива и что в будущем не смогу на себя рассчиты­вать».

Доктор, помнится мне, говорил тогда как раз о на­следственности, излагал законы Менделя, перечислял черты, которые могут и не могут передаваться по на­следству. Я ждала девяти пятнадцати, времени, когда он обычно заканчивал занятия. Тогда быстренько, по­ка еще он не ушел, закрыв глаза и сжав кулаки, слов­но бросаясь с вышки в воду, еще не очень хорошо умея плавать, я начала фразу, причем мое сердце колоти­лось так, что я боялась, что не сумею довести ее до конца:

— Дядя Маршан (так я его называла), я бы хотела знать, вы не захотели иметь детей или не смогли?

Он усмехнулся, как мне показалось, несколько натя­нуто.

— Ну что ж, из-за «внезапной мутации»... — сказал он, намекая на то, что он только что преподавал.

И как ни в чем не бывало я спросила:

— Я вижу, вы предпочитаете мне не отвечать... или же не осмеливаетесь?

Внезапно тон его стал очень серьезным:

— Детка моя, могу тебе признаться, что отсутствие ребенка было для меня и твоей тети единственным, что омрачало наш брак. Единственным, — повторил он немного торжественно, — но очень существенным. Го­ды проходят, мы оба видам, как рождаются и взросле­ют чужие дети, и не можем, ни она, ни я, утешиться, что у нас их нет вовсе. Tbi видишь, я не боюсь гово­рить с тобой об этом откровенно. Что касается причин этого... — Он заколебался, словно подбирал слово, — «бесплодия», — подобрал и произнес он, словно поми­мо своей воли, и черты его лица чуть исказились, — ты позволишь мне, я полагаю, не называть их. В осталь­ном же тебе следует лишь начать действовать, чтобы узнать их.

— Что важно мне, — вновь заговорила я, — так это знать, что в данном случае недостаточно хотеть, чтобы смочь.

Оставалось выговорить самое сложное, в какой-то момент мне показалось, что у меня не хватит духа, за­тем, призвав все свое мужество, я сказала:

— Дядя Маршан, я должна вам признаться... Я бы хо­тела иметь ребенка.

— Ты еще слишком молода, чтобы думать о замуже­стве, — сказал он, вновь заулыбавшись. — Но скоро, учитывая твою красоту и связи твоего отца (последние слова он произнес с оттенком иронии, впрочем, как и всегда, когда он говорил о моем отце), женихи повалят валом, так что сложность возникнет разве что из-за слишком обильного выбора.

— Возможно... Только я не хочу выходить замуж.

— Ого! — слегка саркастично произнес он, зажигая сигарету, чтобы чувствовать себя свободнее, поскольку оборот, который принимала наша беседа, его смущал. — Это какая-то анархия. — Он сделал несколько затяжек, затем добавил: — Впрочем, от тебя бы я вполне мог этого ожидать.

Поскольку к своим словам он ничего не добавил, я спросила:

— Вы считаете, что это очень плохо?

Он выдержал паузу.

— По правде говоря, нет. Я считаю, что это очень неосторожно, а это не одно и то же. Ты наверняка еще не предусмотрела тех невероятных трудностей, кото­рые делают это почти...

Я не дала ему закончить и самым спокойным голо­сом, на который только была способна, сказала:

— Нет тех трудностей, которых я не могла бы пре­одолеть, раз уж я решилась.

Тогда совершенно другим тоном, словно желая по­ложить конец нашему разговору, он добавил:

— Послушай, детка, ты всего лишь еще ребенок. Мы поговорим об этом через несколько лет, если ты не передумаешь.

Он встал, решив, как мне кажется, что беседа наша продолжалась уже достаточно долго и что теперь мне следовало попрощаться.. Я продолжала сидеть. Тогда он стал расхаживать по комнате, затем, резко остановив­шись возле меня, спросил:

— Но можно ли узнать, почему ты отказываешься выходить замуж? Ведь, как бы там ни было, это на­много проще.

Так же просто было не отвечать. Я не могла приве­сти всех своих доводов; это рызвало бы спор... Я замол­чала. Он сделал еще несколько шагов в глубь комнаты, затем, обернувшись ко мне, спросил:

— Во-первых, для того, чтобы завести ребенка, нуж­ны двое, тебе об этом, должно быть, известно.

— Да, известно.

— Ты кого-нибудь любишь?

— Мне также известно, что для этого любить необя­зательно.

— Но у тебя есть кто-то на примете?

Он опять встал передо мной. Он смотрел на меня. Я подняла глаза, посмотрела на него и, предприняв над собой большое усилие, прошептала:

— Да, вы.

Он разразился смехом, как мне показалось очень ненатуральным, и воскликнул:

— Нет, как вам это понравится! — Затем, встав и меря комнату широкими шагами, пару раз, пожимая плечами, повторил: — Как вам это понравится! — По­вернувшись ко мне, он спросил: — Ис каких пор ты вбила себе в голову эту абсурдную мысль?

Я оставалась очень спокойной и просто спросила:

— Абсурдную... почему?

Он очень громко повторил:

— Почему? Почему? — Затем тише, но отчетливее и суше добавил: — Потому что я люблю свою жену.

Этого будет достаточно, не так ли? — И вышел, не по­прощавшись.

Мое сердце колотилось, лицо горело, и я внезапно почувствовала резкую головную боль. Тем не менее я не ушла сразу же, и хорошо сделала, так как дядя Мар- шан через несколько секунд вернулся. Он подошел ко мне и нежно положил руку мне на плечо. Когда я взгля­нула на него, то увидела, что он перед тем умылся.

— Послушай, детка, — сказал он почти нежным го­лосом, — ты бы все же могла понять, что я не хочу при­чинять боли твоей тете. Нет! Ты понимаешь? Чтобы у меня был ребенок не от нее, тогда как она и так уже безмерно сожалеет, что не смогла подарить мне его? Это разбило бы ей сердце.

Его рука гладила меня по плечу, но я теперь сидела опустив голову. Я встала.

— Ну хорошо, — сказал он, — расстанемся все же добрыми друзьями. Но... нет, сегодня ты не заслужива­ешь от меня поцелуя.

Я пожала руку, которую он мне протягивал, и вдруг не смогла с собой справиться и дотронулась его рукой до своих губ, затем скрылась.

По правде говоря, лишь начиная с этого момента я начала любить доктора Маршана или, точнее, вообра­жать себе, что люблю его. Думаю, что, наоборот, сразу же возненавидела б его, если бы он разделил моё мне­ние. В любом случае мое смущение было бы крайним и я должна была бы яростно «взять себя в руки», так как моя физическая плоть вовсе не одобряла этих мо­их умственных заносов. И мой разум, аналогично, раз­дражала эта сдержанность, он желал преодолеть ее, а я бесилась оттого, что чувствую себя, помимо собствен­ной воли, такой стыдливой, такой сдержанной. Каким же ребенком я была в ту пору, будучи наивнейшим об­разом убеждена, что можно по собственному желанию располагать своим телом и сердцем, я с превеликим презрением относилась к безвольным влюбленным и намеревалась полюбить только того, кого решу полю­бить. Так же тщетно и абсурдно я была полна решимо­сти не давать увеличиваться моей груди. Жизни еще предстояло научить меня всему, и в частности, следую­щему: нужно никого не любить, чтобы иметь возмож­ность располагать собой свободно.

Я встретилась с доктором Маршалом вскоре после этого. Госпожа Маршан к тому времени уже вернулась из Байонна, но, поприсутствовав на уроке несколько минут, вопреки своему обыкновению, удалилась, что позволило мне думать, что доктор Маршан попросил ее оставить нас одних.

— Послушай, детка, — сказал он мне сразу же, — я бы не хотел, чтобы разговор, состоявшийся у нас нака­нуне вечером, породил бы между нами малейшую не­ловкость. Но это возможно лишь в том случае, если ты согласишься, чтобы я не принимал всерьез того, что ты мне сказала.

Он сидел за своим столом и не смотрел на меня. Лампа полностью освещала его красивый лоб, я смотре­ла на его лицо, его руки, на него в целом и спрашивала себя: хочется ли мне его поцеловать? Сжать в своих объятиях? Чтобы он обнял меня?.. Я была вынуждена, вопреки собственной воле, ответить: нет. Он взял со стола нож для бумаги из слоновой кости и провел лез­вием по своим губам, и я решительно не хотела оказать­ся на месте ножа. Не имело значения! Все же я реши­ла, что люблю его. Он продолжал:

— Может быть, не все то, что ты мне говорила, но то, что ты сказала мне в конце... думаю, что нет надобности уточнять. Что же касается всего остального... Послушай меня немного, детка: мне часто, очень часто за время работы врачом приходилось заниматься бедными девоч­ками, которые из слабости, неловкости или любви позво­лили сделать себя беременными, некоторые из них дела­ли это добровольно, но чаще всего это происходило из- за надежды, на деле оказывавшейся тщетной, привязать к себе любовника. Почти все сожалели больше, чем ты можешь себе представить. Однако никогда до сих пор *я не* встречал женщины, молодой женщины, которая бы мечтала завести ребенка, не мечтая прежде о любви. Ре­бенок — это последствие, желанное или нет, причем вовсе не неизбежное, чего-то, что сначала должно зна­чить гораздо больше, чем ребенок, чего-то, что сейчас ты будто не желаешь учитывать. Чтобы не счесть это чу­довищным (а так как я рискнула сделать протестующий жест, он повторил: да, чудовищным!), мне приходится говорить себе, что ты еще слишком молода, чтобы...

Я прервала его:

— По крайней мере, не слишком молода, чтобы иметь ребенка?

— Нет, черт возьми! (Я должна была бы сказать: увы!) Но для разговора о том, чтобы его завести.

Доктор встал и сделал несколько шагов по комнате. Наступила долгая пауза молчания, которую я поостерег­лась прерывать.

— Я все же хотел бы понять, что тебя привлекает, — с агрессивной иронией заговорил он наконец, останав­ливаясь передо мной. — Беременность? Роды?.. Могу те­бя заверить, что в этом нет ничего особенно приятного.

Я продолжала молчать, но при каждом его вопросе поднимала голову в знак отрицания. Он продолжал:

— Это ребенок сам по себе? Его кормление? Удоволь­ствие от смены пеленок? Хочется поиграть с куклой?

Вопросы доктора казались мне лишенными всякого смысла. Можно было подумать, что он, обычно такой рассудительный, потерял голову. По правде говоря, я ни­когда не анализировала составляющие моего решения, но думаю, что в моем конкретном случае значительная роль принадлежала протесту, да, протесту против уста­новившегося порядка, который я отказывалась прини­мать, против того, что мой отец называл «добрыми нравами», и, в частности, против него самого, символи­зировавшего в моих глазах эти «добрые нравы», по­том — потребность унизить его, уязвить, заставить крас­неть за меня, отречься от меня; потребность заявить о своей независимости, о своем неподчинении поступ­ком, который может совершить только женщина, соби­раясь взять на себя всю ответственность, не очень учи­тывая его последствия. Я постаралась, правда довольно сбивчиво, объяснить все это доктору Маршану. Однако прекрасные аргументы, которые я считала не терпящи­ми возражений, пока я держала их при себе, начинали казаться мне, по мере того как я их излагала, все боль­ше и больше ужасно ребяческими. Наверно, они и не за­служивали ничего большего, как пожать в ответ на них плечами. Я была почти поражена тем примирительным тоном, которым доктор Маршан заговорил со мной:

— Послушай, детка, как женщина, стремящаяся к сво­боде, отдаешь ли ты себе отчет, что значит иметь такую обузу, как ребенок? Какая зависимость! Какое рабство!

А поскольку я ничего не отвечала, добавил, пожав плечами:

— Ну точно, упряма, как мул.

— Честно признаюсь, от вас я ожидала нечто боль­шего, чем нотации, — ответила я после продолжитель­ной паузы.

— На что ты надеялась?.. На совет?.. Я дам тебе один очень определенный: подумай о чем-нибудь другом.

В этот момент послышалось приближение тети. На­верняка она хотела нас предупредить, поскольку произ­водила гораздо больше шума, чем требовалось, и даже очень громко попросила, чтобы ей открыли дверь, по­тому что у нее были заняты руки. Неужели она боялась застигнуть нас врасплох? Я вдруг по-другому взглянула на ее продолжительное присутствие на уроках доктора.

Она несла на подносе стаканы с апельсиновым со­ком, который мы втроем выпили практически молча, точнее, не говоря ничего, кроме тех банальных пустя­ков, за которыми, мне казалось, она укрылась от меня, как я укрылась от нее.

Я теперь виделась с Жизель лишь изредка, я уже го­ворила об этом, но ее мнение продолжало очень меня волновать; я рассказала ей о своем решении.

— Нет, я не то чтобы осуждаю его, — сказала она мне, — но наши позиции действительно очень различ­ны. Наверное, именно из-за тебя я долго размышляла. Видишь ли, мне кажется, что я принадлежу к разряду тех женщин, которые способны любить лишь один раз в жизни. И тогда я сказала себе: почему бы не выйти замуж за того, кого я полюблю?

Я продолжила:

— Что касается меня, то я не могу согласиться с тем, чтобы всю себя отдать кому-то. Я взрываюсь от мысли, что должна подчинить свою жизнь тому, кто сделает меня матерью, и хочу, чтобы он, со своей сто­роны, оставался свободным. Ты не допускаешь мысли, что вместо того, чтобы отдаваться друг другу, можно предоставлять себя другому на время?

— Как ты смогла бы питать какое-либо уважение к человеку, поддержавшему эту игру, связанную для женщины с очень серьезными последствиями? — А так как я ничего не отвечала, то она продолжила: — Ви­дишь ли, Женевьева, я думаю, что жизнь позаботится о том, чтобы развеять все твои прекрасные теории... И так будет лучше, — добавила она, улыбаясь, а затем вполголоса промурлыкала:

Обманываться в своих начинаниях —

Вот на что мы обречены. Утром я строю планы, А в течение дня делаю глупости.

— Какие красивые стихи, это твои?

— Да ты что! — по-детски воскликнула она. — Это небольшое четверостишие Вольтера, которое я с удо­вольствием повторяю и которое могло бы подойти и те­бе. Бедная моя Женевьева, однажды ты позволишь се­бя соблазнить, точно так же как и все остальные, не­смотря на всю твою решимость; или же, что еще хуже, ты вообразишь, что нашла в своем соблазнителе не­обыкновенный ум и массу достоинств, которые будут существовать лишь в твоем воображении. Тем не менее тебе уже известно, что значит увлечься и что тогда ты больше уже не принадлежишь себе полностью.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Сейчас уже, я думаю, ни для тебя, ни для меня больше не опасно говорить об этом. Ты ведь не догада­лась, что и я тоже была без ума от Сары, не так ли? Да, несмотря на мою общеизвестную рассудительность, аб­солютно без ума; единственное, в чем проявлялась моя рассудительность, так это в том, что я старалась сде­лать это менее заметным, чем ты, но я перестала спать из-за этого. О! Нет, я не хочу, чтобы ты переживала; между нами никогда ничего не было, но в ее объятиях я растаяла бы, как сахар. К счастью, Сара об этом не догадалась. Если я рассказываю тебе сейчас об этом, причем, как ты видишь, совершенно спокойно, то толь­ко затем, чтобы спросить тебя: представь себе, что Са­ра была бы мужчиной. Позволила ли бы ты ей сделать тебе ребенка?

Откровенность Жизель очень взволновала меня. Мне понадобилось некоторое время, чтобы суметь от­ветить, но совершенно уверенно:

— Нет.

— Почему? — спросила Жизель, тут же оговорив­шись: — Само собой, что мы будем говорить, отбросив в сторону всякое там «человеческое уважение», всякую сгьщдивость и всю заученную мораль; однако чем боль­ше мы избавляемся от них, тем важнее, как мне кажет­ся, быть требовательными по отношению к самим себе. Ты ведь тоже так считаешь, не так ли?

— Разумеется, и если я заставляю себя говорить ци­нично, то ты же знаешь, это вовсе не доставляет мне удовольствия.

— Тогда ответь: почему ты не хочешь ребенка с ли­цом Сары?..

— Потому что физическая привлекательность для ме­ня менее значима, чем ум и душевные качества, и имен­но те, которых у Сары нет, но которые я вижу в тебе.

— Жалко, что у меня нет брата! — тут же восклик­нула она со смехом.

Затем, чтобы не оставлять между нами ничего недо­сказанного, я рассказала ей о своих беседах с доктором Маршаном. Она вновь стала очень серьезной.

— Послушай, — сказала она мне, — тебе стоило 6bi поговорить об этом со своей матерью. Насколько я ее знаю, она очень хорошо поймет тебя.

— Да, я уже давно думаю об этом и обещаю себе как-нибудь од нажды поговорить с ней, но только позже и не о том, что я тебе сейчас рассказала про доктора Маршана...

— Почему?

— Думаю, что лучше не стоит.

Некий инстинкт предостерег меня.

Та давно обещанная самой себе беседа с матерью со­стоялась в Шательро в октябре 1916 года, куда я приеха­ла повидаться с ней незадолго до ее смерти. Как я уже указала в нескольких словах в коротком предисловии, предваряющем дневник моей матери, вышедший под на­званием «Урок женам», моя мать уехала ухаживать за инфекционными больными в один из госпиталей в ты­лу, таком же опасном в своем роде, как и самая передо­вая линия фронта. Сначала я хотела поехать туда вместе с ней, но она отказалась. Однако она согласилась, что­бы я провела рядом с ней несколько дней между двумя службами «скорой помощи», которые были в моем ве­дении. Так что когда я увидела ее, она была одета в ха­лат медсестры, из которого уже не вылезала. Госпиталь был полон больными; из страха, как бы я не заразилась, она не позволила мне зайти в него. А поскольку я возра­жала, чтобы и она в него входила, она ответила, смеясы

— Да, но у нас, медсестер, иммунитет. Подумай только! После пяти месяцев работы...

Происходило это, как я уже сказала, за несколько дней до ее смерти. Она показалась мне очень уставшей из-за перегрузок и ночных дежурств, но, когда я сказа­ла, что ей следовало бы немного отдохнуть, она ответи­ла, что никогда так хорошо себя не чувствовала, как с тех пор, когда у нее не оставалось больше времени ду­мать о себе, и что так лучше было для солдат.

— И для тебя тоже, я уверена, — добавила она.

Верным было то, что мне стало гораздо лучше с тех пор, как я стала заниматься исключительно транспор­тировкой раненых. Переживания и волнения недавне­го прошлого казались мне уже очень далекими. Боль­ше я о них не вспоминала, а если и вспоминала, то лишь для того, чтобы посмеяться над ними; так что я спокойно начала с моей матерью разговор о докторе Маршане.

— Я бы хотела знать, что ты о нем думаешь, — ска­зала я.

— Я думаю, что он замечательный доктор и к тому же исключительный человек.

— Да, это все о нем говорят. Но я бы хотела услы­шать более личную оценку.

Она долго молчала, с улыбкой глядя себе на ноги. Мы сидели в городском саду. В тот день стояла пре­красная погода, и воздух, несмотря на то что на дворе была осень, оставался мягким. Голуби, клевавшие ря­дом с нами хлеб, брошенный им прохожими, взмыли в небо. Она взглянула на меня, улыбаясь еще шире, при­чем лицо ее слегка подергивалось, с чем она не могла совладать.

— Ты когда-нибудь догадывалась, что я любила доктора Маршана? — начала она наконец слегка дро­жащим голосом. — Такое признание дочери из уст ма­тери, причем наверняка... — Она не могла подобрать слова, чтобы закончить свою фразу, и продолжила: — Об этом маленьком секрете я никому не рассказыва­ла и никогда бы не рассказала тебе, если бы мне при­шлось из-за этого краснеть... Секрет, который почти не имеет последствий, поскольку я никогда не добива­лась любви от него... Но когда я перестала испытывать любовь к твоему отцу, то есть когда я перестала его уважать (думаю, что не открываю тебе ничего ново­го)... ну вот, мне необходимо было уважать доктора Маршана, и именно это уважение поддержало меня в тягостные часы печали.

— Значит, ты никогда с ним не говорила? Почему?.. (Она покачала головой, но не ответила на «почему»). А ты вполне уверена, что он ни о чем не догадывался?

Она вновь несколько секунд сидела молча, затем произнесла:

— Существует один человек, который все же кое о чем догадывался... Это его жена.

— Госпожа Маршан?

— Да, моя подруга. Именно из-за нее я никогда ни о чем не заговаривала. Я не хотела, чтобы она страдала.

— Знает ли она хотя бы о твоей жертве?

— Но, Женевьева, в этом не было никакой жертвы. Так всем было лучше.

Чуть нетерпеливо я вновь задала вопрос:

— А ты и в самом деле уверена, что он ни о чем не догадывался?

Улыбка спала с ее лица:

— Почти ни о чем. — Она поцеловала меня в лоб и, снова улыбнувшись, сделав жест рукой, словно чтобы прогнать воспоминания, сказала: — Детка моя дорогая, почему я все это тебе сегодня рассказываю?.. Я тебя очень удивляю? Помнишь, как ты вбила себе в голову (вот уж действительно не знаю почему), что я была влюблена в этого беднягу Бургвайлсдорфа?

— Да, это было смешно, но мне необходимо было представлять себе, что ты любишь кого-то, кроме папы.

— Замолчи! — сказала она, как будто мягко ворча на меня. — Сегодня ты наговорила мне ужасных вещей.

— Я только помню, что была в ярости, потому что считала, что ты жертвовала собой ради меня.

— А когда это было, Женевьева?.. — спросила она с исключительной важностью.

— Дело в том, что жертвенность наводит на меня ужас.

— Ты рассуждаешь как человек, который еще никог­да не любил. Мне немного холодно, давай походим. А потом мне уже нужно будет возвращаться в госпиталь.

Подул легкий ветерок, и с деревьев опали мертвые листья.

Мы встали.

— Я должна рассказать тебе еще одну вещь, — ска­зала я ей, внезапно решившись. И на одном дыхании до­бавила: — Знаешь, что я однажды сказала доктору Мар- шану?.. Что я хотела бы иметь от него ребенка.

Я увидела, что она, словно от удара, отступила на два шага назад.

— Но Женевьева!.. — Это было сказано неопреде­ленным тоном, словно она шокирована, но присутство­вала в том, к£к она это произнесла, доля притворства, волнения, и казалось, что ей чуть-чуть забавно. Дрожа­щими губами она произнесла: — Я тебя не понимаю.

— Да, — без обиняков заявила я, — я хотела, чтобы он сделал меня матерью.

— Да что же на тебя нашло, бедная моя малыш­ка? — На этот раз в ее голосе преобладал упрек.

— Не знаю. Просто такая мысль взбрела мне в голову.

— Ну... и что он тебе ответил? — На этот раз в го­лосе была тревога.

— Он ответил мне, что я говорю как ребенок, не­скромный и вышедший из ума ребенок, что он отказы­вается принимать меня всерьез, что...

— Что, что еще?

— Ну и что он не хочет, потому что...

— Потому что — что? Ну скажи мне, не бойся.

— Потому что он любит свою жену. Но сегодня я по­нимаю, — сказала я, пристально глядя на нее, — что не только из-за этого.

— Может быть, — ответила она совсем тихо.

Мне показалось, что губы ее дрожали. Ах! Насколь­ко же более достойными уважения, и в особенности бо­лее подлинными, чем мои собственные эгоистические решения, предстали передо мной в тот момент тонкие, невыраженные чувства моей матери, доктора Марша- на, даже моей тети, все эти таинственные и хрупкие ни­ти, тайно протянутые от сердца к сердцу, которые я, прохода мимо, рвала, неосторожно цепляя их... Вот что я хотела бы ей сказать, прежде чем попрощаться с ней. Но она положила палец не на свои губы, а на мои, неж­но улыбаясь и глядя на меня так, что я поняла: слов больше не нужно. Тогда я со всей силой сжала ее в сво­их объятиях и крепко расцеловала. Она сказала мне «прощай».

Больше мне не суждено было ее увидеть.

1. Во что вы верите? (англ.) [↑](#footnote-ref-1)
2. It is vain to say human beings ought to be satisfied with tranquillity: thay must have action; and they will make it if they can not find it Millions are condemned to a Stiller doom than mine, and are in silent revolt against their lot Nobody knows how many rebellions besides political rebellions ferment in the masses of life which people earth. Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they need exercise for their faculties, and a field for their efforts as much as their brothers do; they suffer from too rigid a restraint too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that they ought to confine themselves to making puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced necessary for their sex. (Джейн Эйр. Глава XII) [↑](#footnote-ref-2)